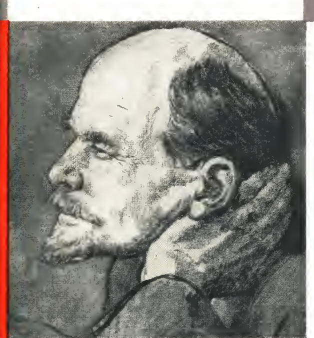
И. ПОПОВ



Один день с Лениным



И. ПОПОВ

Один день с Лесниным

МОСКВА
1963
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ



И. ПОПОВ

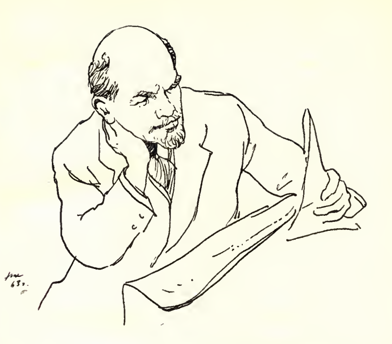
Один день с Лениным

Р2
П58

Покойный Иван Федорович Попов — писатель, автор пьесы «Семья», рассказывающей о юности В. И. Ленина, и романа «На исходе ночи», посвященного революционерам-подпольщикам.

В канун империалистической войны И. Ф. Попов жил в эмиграции в Брюсселе. Он часто встречался в те дни с В. И. Лениным, работал его секретарем, — об этих встречах он и рассказывает в своих воспоминаниях.

*Рисунки работы
народного художника СССР
Н. Н. Жукова*



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ

Мне было 22 года, когда я приехал за границу, бежав из ссылки. Я поселился в Брюсселе, где поступил учиться в Брюссельский университет.

Первый раз я появился у Владимира Ильича и

Надежды Константиновны в Париже, на маленькой и тихой улице Мари-Роз.

Это было ранней весной 1909 года. К этому времени я уже находился в деловой переписке с Надеждой Константиновной. Переписка началась после того, как меня рекомендовала Владимиру Ильичу Инесса Федоровна Арманд, с которой я подружился в мезенской ссылке и был дружен до конца дней.

До первой личной встречи я успел выполнить несколько поручений Владимира Ильича. Правда, первые поручения Ленина немного смутили меня своей легкостью: предполагалось через Брюссель организовать постоянные почтовые сношения с партийными организациями в России и наладить через Антверпен и Гент отправку нелегальной литературы в русские черноморские порты. Мне надо было добыть несколько бельгийских адресов, на которые можно было бы направлять из России всю партийную корреспонденцию Центрального Комитета.

О том, что я приеду в Париж для личного знакомства с Владимиром Ильичем, было условлено заранее. Я знал приблизительно, какие меня ожидают новые поручения, представлял себе в общих чертах, о каких делах будут у нас разговоры, и в преддверии этой первой встречи чувствовал себя относительно уверенно и спокойно. Кстати сказать, гораздо спокойней, чем перед какой-либо иной встречей в последовавшие за тем годы.

При моем появлении Владимир Ильич сразу заговорил о делах:

— Я вам дам серьезное поручение. Справитесь?

И сам ответил:

— Не сомневайтесь, справитесь.

Мне же самому все представлялось простым и легким. Моей юности было подарено лучшее из счастий — безраздельная убежденность в правильности своих взглядов.

Новые поручения несколько разочаровали меня. Я ждал трудного, мечтал чуть ли не о подвигах, а заниматься приходится чистой техникой. Только по прошествии какого-то времени я разгадал, что был подвергнут испытанию на деле: Владимир Ильич проверял, насколько молодой товарищ, хотя бы и с хорошей рекомендацией, окажется в работе точен, внимателен, находчив.

— Вы как с французским, освоили хорошо? А как с людьми-то — напористый или податливый? Побольше, побольше знакомств заведите. Вы не стесняйтесь, пусть вас и на самом верху в бельгийской рабочей партии знают. Вы им дело, дело, которое вам поручено, как следует растолкуйте и заставьте их помочь вам. Вы мне пишите, у кого побываете, какие впечатления себе составите. Только, пожалуйста, без беллетристики, без голубых цветов на воде, ответственно, точно передавайте впечатления, факты улавливайте, узнавайте терпеливо, не торопясь, — говорил Владимир Ильич.

В эту нашу первую встречу моя работа в Интернационале была Владимиром Ильичем только предположена, но практически еще мне не предложена.

Однако знакомство со мной и испытание совершалось под знаком именно этих предложений.

— А вы что же, для отправки литературы ездили в порты — в Гент, в Антверпен? Знакомились с местными организациями рабочей партии? С рабочими синдикатами?

— Ездил, Владимир Ильич, знакомился.

Таким образом, при первой же встрече я был выспрошен и взвешен, насколько было нужно для дела, которое Владимир Ильич счел тогда возможным поручить мне.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В один из своих приездов в Париж к Владимиру Ильичу я не застал дома ни Владимира Ильича, ни Надежды Константиновны. Владимир Ильич жил на маленькой и тихой улице Мари-Роз, 4, в Латинском квартале, недалеко от Сорбонны и Пантеона.

Как всегда, перед свиданием с Владимиром Ильичем меня охватило волнение. Бывало, получишь вызов к Владимиру Ильичу или извещение из Парижа, а в 1912—1914 годах из Кракова или Поронина, что, мол, «буду в Брюсселе тогда-то», и сразу попадаешь в настоящий душевный шторм — до самого дня встречи внутренне готовишься к этой встрече. Остаешься ли дома, идешь ли по улице, а в мыслях уже беседуешь с Владимиром Ильичем и на разные

лады пробуешь, как бы лучше, точней рассказать самое нужное, самое важное.

Конечно, сердце екнуло, когда я нажал кнопку звонка у подъезда. Это был небольшой домик, в котором не было консьержа при входе. Звонок зазвонил, и стало тревожно: отступление уже исключено. А до того в глубине души шевелилась мысль: а не отложить ли до завтра, завтра буду лучше владеть собой. Женщина, открывшая мне дверь, сказала:

— Поднимитесь выше.

И вот я на площадке у двери в квартиру. Тут-то вот и сгорела, куда-то упала моя решимость. Я заставил себя позвонить. Открыла мне Елизавета Васильевна — мать Надежды Константиновны.

— А их нет — ни Владимира Ильича, ни Надежды Константиновны. Будут они едва ли раньше, чем через час. А вы не здешний, не из Парижа? Приезжий? Так пройдите, не стесняйтесь, обождите у нас. Вернутся-то они обязательно, никуда не уйдут, скоро обеденный час.

Мы прошли в простую, чистенькую кухоньку с кафельной панелью в человеческий рост. Такие кухоньки используются в маленьких квартирах обыкновенно как столовые. Обстановка кругом была очень скромная, даже скудная. Здесь было, по-видимому, только самое, самое необходимое: одна табуретка, четыре стула с жестким сиденьем, плетенным из камыша или какой-то морской травы, маленькая угольная плита, три-четыре кастрюли, не больше

полдюжины тарелок, голые стены, на единственном окне нет занавески, а только одно узенькое «бризвю».

Конечно, я был огорчен, что надо было ждать, но, пожалуй, и обрадован немного: все-таки какая-то отсрочка, есть время для того, чтобы еще раз на себя оглянуться.

Елизавета Васильевна начала со мной самый незатейливый разговор: откуда приехал, почему бежал из России, как устроился в Брюсселе, на какие деньги в месяц могу рассчитывать, «не поголадываете ли?».

Но эта «передышка» не дала мне успокоения. Несмотря на прозаичность вопросов, которые мне задавались, волнение мое все возрастало от сознания, что вот я сижу в комнате, где проводит время Владимир Ильич, где он ходит, разговаривает, думает.

В то время как я волновался от этих мыслей, Елизавета Васильевна все продолжала незатейливый разговор.

— Значит, вам нельзя вернуться в Россию? А мамаша ваша жива? Небось ей-то как тяжело? И вот, коль уж заговорили о родителях и детях, хочу вам задать один вопрос, — человек вы молодой, надеюсь, правдивый, и потому отвечайте только по правде. Кто, по-вашему, Владимир Ильич?

— Как это так — кто?

— А так, попросту, кто, ну, занятие его какое? Я вам сейчас поясню, зачем и почему спрашиваю.

Вот, знаете, мы, пожилые люди, родители, особенно матери, — как собираемся вместе, разговор у нас идет больше всего о детях и особенно о дочерях... Чья дочка за кем замужем. Одна говорит, за адвокатом, другая — за писателем, третья — за профессором... и так далее. А я сижу и думаю, что мне ответить, когда до меня очередь дойдет. «А ваша Наденька, Елизавета Васильевна, за кем?» А я не знаю, как мне надо будет отвечать, за кем. Вот вы человек молодой, и скажите, как мне ответить: за кем же Надежда Константиновна? Конечно, я и без подсказки могла бы найти несколько ответов. Но ответы эти были бы только наполовину правильные. Например, можно б ответить: за адвокатом. На самом деле, Владимир Ильич государственный экзамен в Петербургском университете выдержал на адвоката и к одному присяжному поверенному в Петербурге был приписан для практики и даже дела каких-то рабочих вел. А ведь все-таки не адвокат. Не это его постоянное занятие, не это профессия. И также нельзя мне сказать, что он писатель... Книг он немало написал. И каждый день все что-то пишет. А ведь пишет-то он не просто для самого писанья и не для заработка, как иные: значит, не писатель. И, тоже сказать к примеру, не профессор; конечно, мог бы он, по своей учености, преподавать в университете, а ведь не пошел на это. Вот вы меня, старуху, и просветите, — за кем моя Надя... Ну, это, голубчик, вы что-то очень выспреннее говорите, не всякому вас и понять. А вот по-житейски-то и вы не можете ответить. Вы не по-

думайте только чего не надо. Я очень, очень его люблю... Но, видно, не придумано еще слово для обозначения того, что мой зять делает.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна вошли без звонка, без стука, отперев дверь своим ключом. Дверь за ними закрылась аккуратно, почти беззвучно. Но мне показалось, что все сразу сместилось, заходило, наполнилось шумом, стало все кругом както звонко. Поздоровались они со мной без восклицаний, деловито, как будто и не могло быть никаких отклонений от условленного: намечено было, чтоб в такой-то день и в такой-то час я был на этом месте, и вот я явился.

Все движенья Владимира Ильича казались в первый момент быстрыми. Но впоследствии, спустя долгое время, когда я больше бывал в его присутствии, я открыл, что это была совсем не быстрота, а точность и верность всякого шага и жеста, направленного каждый раз обязательно к определенной цели.

Бывает так, что человек какие-то мгновенья ищет, куда ему сесть, куда шагнуть, где остановиться, куда посмотреть, как протянуть руку, а здесь делалось все без малейшего замедления, только самое нужное в этот момент и самым коротким путем. И походка у него была не быстрая, а точная, без развалки, без мешканья.

Владимир Ильич ввел меня сейчас же в комнату просторней кухоньки и просторней соседней комнатушки, дверь в которую была широко открыта. Все

помещение мне показалось пустым: как будто только что въехали сюда и не успели еще обжиться. Заметней всего были на полу и в углах пачки газет, рассортированных и перевязанных бечевками, а также нерассортированных и неперевязанных. Владимир Ильич сразу заговорил о деле. Надежда Константиновна отлучилась только на очень короткое мгновенье, потом вернулась и села на стул около нас, села бесшумно. В течение долгой беседы она произнесла всего две-три фразы, но слушала с самым живым вниманием и даже, казалось, с каким-то деятельным вниманием.

В душе я был убежден, что мне удалось очень хорошо справиться с поручениями, которые мне были до сих пор даны Владимиром Ильичем. И когда наш разговор подошел к этой теме, я насторожился и ждал должной оценки. Но похвал не было, и разговор опять удалялся на другое.

По многим косвенным признакам у меня были все основания ждать, что затем я приглашен на личную встречу, чтоб получить серьезные, политического свойства, поручения, — может быть, даже по Интернационалу, в отличие от прежних поручений, где от меня требовалась только организаторская смекалка.

Но все это оказалось не так. Мне было поручено от своего имени и на свой риск и страх подготовить председателя Интернационала Эмиля Вандервельде, о котором я знал, что это блестящий оратор и талантливый политический писатель, к некоторым

неприятным для него шагам крайне левой части русской социал-демократии; выяснить при встрече возможную позицию Жана Жореса; узнать от Августа Бебеля его отношение к статьям в заграничной рабочей печати о русских делах; встретиться с Виктором Адлером, когда тот приедет в Брюссель. Все это имена общеевропейской известности, и держать себя с ними надо умеючи. Но смущенье было мимолетным. И казалось, если ясна цель, то так же ясно будет, какой дорогой надо идти и как действовать на всех поворотах пути.

Но на самом деле все оборотилось иначе. Лидеры европейского рабочего движения, с которыми надо было постоянно иметь дело, оказались все без исключения умны, житейски опытны, изощрены в уменье находить сильнейшие доводы и к тому же владели искусством быть обаятельными в личном общении. Тропинки и пути смешались передо мной. И стало так же трудно держать избранное направление, как бывает, когда зайдешь глубоко в лес.

Однако я довольно скоро перенял от своих партнеров изощренность политической аргументации. Торжествовать мне оттого, впрочем, не пришлось. Несмотря на частый обмен письмами и телеграммами с Владимиром Ильичем, при всяком приезде Ленина обязательно открывалось что-нибудь не предвиденное мной в делах, но ясно видимое Владими-

ром Ильичем. И всегда это непредвиденное мне казалось чем-нибудь очень простым.

На опыте я убедился, что это только так кажется досадной случайностью, что я, видя самые тонкие тонкости и самые сложные сложности, не мог до указания Владимира Ильича разглядеть то простое, что видел Ленин. Опыт доказывал, что это простое и было каждый раз основным и самым главным.

Это свойство ленинского ума открывать в жизненных явлениях их самую затаенную сущность вызывало во мне чувство преклонения и радостного восторга. Всякая встреча с Лениным была для меня волнение, тревога и настраивала меня на торжественную приподнятость.

Впоследствии мне была выдана доверенность ЦК на ведение дел по нашему представительству в Интернационале. Я должен был постоянно проживать в Брюсселе, где находился Исполнительный комитет Интернационала и где созывались раза два-три в год сессии представителей социалистических партий всех стран, так называемое Международное социалистическое бюро.

— А с лидерами партии в Брюсселе, насколько могу заключить из ваших слов, вам так и не понадобилось знакомиться? У бельгийцев ведь все до крайности децентрализовано.

— Нет, Владимир Ильич, я начал с посещения Генерального совета рабочей партии в Брюсселе. И я прежде всего познакомился...

— Неужели с самим Вандервельде?

— Да, Владимир Ильич, с самим Вандервельде.

— Хватило у вас смелости? А как же вы объяснили ему ваш приход?

— Сказал, что обращаюсь к нему за помощью, как к председателю Интернационала.

С восторженностью, несомненно чрезмерной, я рассказал Владимиру Ильичу о моем впечатлении от личности Вандервельде и от моего визита к нему. Я расписал приветливость Вандервельде, его изящную любезность, его безукоризненно красивую манеру говорить, я умилялся, как ясны и точны его всегда короткие фразы, как он хорошо знаком с нашими делами, как он горячо принимает к сердцу все, что касается русской революции.

Владимир Ильич неожиданно рассмеялся. Я не понял причины этого смеха. А он смеялся заливчато, от всей души, и на лице его было такое выражение, как будто он говорил: «наивный ребенок». Я смутился и почувствовал, что вот-вот готов потерять контроль над собой.

— И вы, конечно, старались понравиться Эмилю Вандервельде?

В смущении мне показалось, что я пойман на тщеславии, и, покривив душой, с не очень естественным негодованием я стал отрицать:

— Нет, нет! Что вы, Владимир Ильич? Ничуть я не старался. Да и зачем мне было бы стараться?

Владимир Ильич посмотрел на меня с возрастающим веселым лукавством. Этот взгляд я перевел бы словами так: «Вы решили, что отрицая, вы будете

казаться умней и догадливей и что мне, вашему собеседнику, будет приятней слышать, что вы не поддались личному обаянию этого талантливого человека, нашего противника, реформиста. Но на деле вы все-таки старались понравиться Вандервельде, как сейчас стараетесь понравиться и мне. Но я вас за это не виню, вы очень молоды, неопытны».

С его лица не сходила улыбка. И от этой улыбки мне казалось, что все мои слабости и все мое неуменье, вся неопытность становятся очевидными. Я уж совсем потерялся, всякое подобие самоконтроля совсем исчезло, и мне казалось: все, что говорю, я говорю глупо...

О ленинской иронической улыбке рассказал нам однажды старик Павел Борисович Аксельрод: «В Берне выступал я перед русской колонией с рефератом, вышел на трибуну, начал очень уверенно и очень спокойно — казалось мне даже, что очень умно начал, но вдруг после нескольких фраз вижу в первом ряду — Ленин. Гм, Ленин пришел на мой реферат, почему бы? И — ужас, — на его лице веселая ироническая улыбка. Спохватываюсь: не сказал ли я какую-нибудь глупость? И мой реферат пропал, я потерял нити, сбился с намеченного, начал путаться, вязнуть и не мог уже остановить панического смущения перед этой веселой иронической улыбкой». И это Аксельрод, закаленный, с большим житейским опытом, человек с прочной репутацией.

Вернусь к моей беседе с Владимиром Ильичем. Помню отчетливо, что к концу разговора мое сму-

щение стало исчезать так же помимо моей воли, как и пришло оно ко мне.

И я спросил Владимира Ильича прямо:

— Я сделал какие-то промахи с Вандервельде? Вы недовольны, что я старался понравиться?

— Совсем не то, не то. Нравьтесь ему сколько вам будет угодно. И не вижу плохого, если вы его очаруете. Но не в этом ваша цель. Понравитесь или не понравитесь, а вы не должны ни на минуту забывать главное, что вам надо сделать.

— А что главное, Владимир Ильич? По-моему, я говорил Вандервельде как раз о самом главном. Я хотел особенно возбудить его сочувствие к борьбе русских революционеров и рассказал ему, что за короткий срок Столыпин повесил больше пяти тысяч человек, что на каторгу отправлено...

— Так-с.

— Ну и вообще об ударах, которые нам наносит реакция.

— А еще?

— А еще рассказал ему о нашей тактике, о том, что мы стараемся сочетать нашу нелегальную работу с легальной...

— И думаете, что он вас хорошо понял?

— Я говорил ясно.

— А вот главного-то вы и не сказали ему... А главное ваше дело — заставить их правильно понять смысл того, что фактически происходит у нас в стране. Они — я имею в виду лидеров Интернационала — должны знать, что революция в России не

снята с исторической сцены, что ни одна из задач, выдвинутых широким народным движением в девятьсот пятом году, фактически не разрешена, что русский кризис не изжит, что Россия неизбежно упирается в новую революцию, что мы считаем задачей нашей партии всеми средствами готовить новый революционный подъем. И это нас отличает от всех других социалистических направлений в настоящее время в России. Если вы сумеете им это растолковать, будет очень хорошо, даже если они и не согласятся с этим. А я убежден, что Вандервельде не согласится. Пусть, но зато ему будет ясно, из какой основы мы будем исходить теперь во всех наших шагах, больших и малых, и на чем мы будем строить нашу оценку тех или иных фракций.

Много писалось, вспоминалось самыми разными людьми о большой простоте Владимира Ильича. Владимир Ильич в повседневном общении с людьми действительно был так прост, как только может быть самый хороший человек и самый мудрый. Простота эта заключалась не только в отсутствии какой-либо тени важности. Простота выражалась не в напускном, а в совершенно естественном уважительном и бережном отношении к собеседнику. Ты мог ждать несогласия, ждать порицания и даже гнева, но за одно мог быть спокоен,— твое человеческое достоинство не будет никак задето и ничто тебя не обидит, не унизит. Начиная беседу с Владимиром Ильичем, всякий мог быть уверен, что разговор будет на равных, человечески на равных правах.

Но привыкнуть к общению с Владимиром Ильичем, в том смысле привыкнуть, чтобы не волноваться перед каждой новой встречей и сохранять в разговоре спокойное равновесие, нельзя было. Какая уж тут привычка? К экзаменам не привыкают. А эти встречи были строже экзаменов и воспринимались сердцем и умом как самая глубокая проверка собственной умелости и преданности порученному делу. С самого первого слова, обращенного к Владимиру Ильичу, попадаешь, бывало, в душевное состояние совсем необычное: как будто вышел на самый яркий свет, да еще ничем не прикрытый. Посмотрит Владимир Ильич на тебя, и кажется, — он все видит. И сразу начинаешь придирчиво следить за собой, — нет ли в тебе какого-нибудь намека на позу, на кокетство своей сообразительностью, на старание понравиться. Сознаешь, что от его взгляда ничто не спрячется и не ускользнет. Чувство ответственности за себя и за свои слова обостряется до крайности.

Как бы ни был доступен и прост Владимир Ильич, расстояние между ним и нами, которые его любили и чтили больше всего на свете, жило в нас самих. Мы это расстояние ощущали в глубине своего сердца. Не знаю, как других, но меня очень часто в присутствии Владимира Ильича волновало чувство присутствия гения. Да вот и сейчас, я приехал в Париж, я шел по улице к этому домику, я позвонил, весь наполненный впечатлениями от чтения незадолго до того попавших ко мне материалов Всероссийской де-

кабрьской (1908 года) конференции партии. Ленинский анализ политической обстановки, создавшейся после поражения революции 1905—1907 годов, ленинский вывод о том, что ни одна из причин, вызвавших первую революцию, фактически не исчезла, что ни одна из ее целей не снята с исторической арены, — все это в тех жесточайших и мрачнейших условиях освещало тяжелый и тернистый путь революционеров светом непререкаемой научной правды. Это было безмерно сильней всяких утешений, всяких отвлеченных призывов верить в успех и не падать духом. Ленинский анализ приводил к простому решению, ясному и объективному, непоколебимому, как математический вывод. И эта простота и ясность поражали больше, чем простота в личном общении.

Но отчего же все-таки всякий деловой разговор с Владимиром Ильичем воспринимался как разговор равных? Да оттого, что Владимир Ильич не декларировал в беседе с вами своих выводов, своих решений, как готовых и незыблемых, которые оставалось вам только принять. Нет, он как бы открывал перед вами двери и впускал вас в лабораторию своей мысли. Кстати, почти всегда и в его произведениях он как бы с вами вместе ищет, с вами вместе выверяет ход аргументации, вам даются от него все слагаемые и на ваших глазах подводится логический итог. А в личной беседе этот свойственный Ленину прием убеждения был еще очевидней, чем в его литературных работах.

В живом разговоре он, часто возвращаясь к одному и тому же основному пункту, постепенно освещал все новые стороны дела и постепенно все усиливал центральную линию аргументации и доводил ее до такой осязаемости, что вам казалось, что это не он один находил решения, а с ним вместе и вы равноправно участвовали в творческом анализе и поисках.

Я никогда в жизни не забуду того чувства, когда вдруг перед тобой открывалась только что возникшая, только что родившаяся какая-то новая, неожиданная сторона его аргументации. А его мысль была неистощима в открытии все новых и новых деталей. Я, право, теряюсь передать это касание к совершающимся перед тобой открытиям гениальной мысли.

Способность Владимира Ильича убеждать в правоте своих доводов и решений, способность увлекать своею мыслью была поистине беспредельна. Никогда и ни при каких обстоятельствах его не покидала вера в свою правоту. И никогда его не пугала и не останавливала продолжительность предстоящих усилий. Конечный успех никогда не вызывал в нем сомнений. Оттого и бывало, что чем мрачней рисуешь ему положение, — особенно в годы, когда и внутри российского движения, и в Интернационале все носители беспринципности во всех ее оттенках объединились против революционного большевизма, — тем он становился бодрей, тем энергия его проявлялась сильней и тем очевидней для всех окружающих становилась его готовность к бою.

В ОДИН ИЗ ДАВНИХ ДНЕЙ

*(Рассказ-воспоминание
об одном из минувших дней,
которые не записываются
по людской небрежности
в документы истории)*

Вечером я получил телеграмму из Парижа: «Приеду утром 25-го Ленин».

Канун большого дня всегда тревожен. Предстоящая встреча, как набежавший ветер, подхлестнула во мне волны мыслей.

Ленин наезжал в Бельгию, когда того требовали дела Интернационала, Исполнительный комитет которого находился в Брюсселе.

В 1905 году представителем российской социал-демократии в Интернационале был избран В. И. Ленин.

На меня были возложены секретарские обязанности, то есть осведомлять Владимира Ильича (как официального представителя партии в Интернационале) о положении дел в Интернационале, о намерениях, о предположениях Исполнительного комитета и влиятельных лидеров крупнейших социалистических партий в тех вопросах, которые прямо или косвенно касались или могли касаться, влияли или могли влиять на сложное положение и на ход ожесточеннейшей фракционной борьбы внутри российской партии (речь идет о периоде 1908—1914 годов).

Несколько отклоняясь и забегая вперед, надо сказать, что Владимир Ильич требовал от этих сообщений прежде всего фактов, фактов точнейших, фактов без каких-либо прикрас. Правда, внимательно вслушивался он и в комментарии, но никак нельзя было допустить смешения и придать своему собственному толкованию или догадке значение факта.

— Ваш оптимизм и ваши хорошие намерения в толковании происходящего, конечно, похвальны, но на них мы не можем, согласитесь, основать никакие наши действия, — говорил Владимир Ильич.

Страшней всего было при этом получить оценку «беллетристика». Этот термин бытовал среди русской социал-демократии еще во времена «Искры». Беллетристикой называли краснобайство, празднословие, пустую болтовню, фантазерство, закрываю-

щее глаза на неприятные факты, и вообще всякое подобие «лакировки», как сказали бы теперь. И если уж кого Ленин характеризовал словом «беллетрист», тот начисто лишался его доверия.

• • •

Стояла предвесенняя пора на исходе дождливой и туманной приморской зимы, конец января девятьсот четырнадцатого года. Проснувшись в день приезда Владимира Ильича, я распахнул настежь обе створки балконной двери во втором этаже, где жил. Светило солнце, но было холодно... И вдруг сквозь солнце засеяла снежная крупа. Я остался на балконе, всматриваясь, не покажется ли из-за угла большой улицы тот, кого я ждал.

И действительно, как только я взглянул в ту сторону, завернули из-за угла один за другим двое мужчин, обсыпанных по шляпе и плечам снежной крупой. Мне стало досадно, как будто меня обманули.

Но сейчас же за ними показался еще прохожий. Это был Ленин. Метель остановилась, как будто высеяв в одно мгновенье все, что у нее было. Тротуары и красные черепичные крыши сейчас же заблестели мириадами тающих снежинок, а оставшиеся в затенениях белые полоски чистейшего снега только увеличивали блеск, бодрость и свежесть начинающегося дня.

• • •

Владимир Ильич не заметил меня на балконе. Он был сосредоточен на чем-то. Я бросился вниз. Продребезжал звонок. Я успел добежать до входной двери раньше, чем квартирная хозяйка. Я любил сам встречать Владимира Ильича на пороге дома.

Ленин, очевидно, приготовился, что откроет кто-нибудь из посторонних, рука его была у борта шляпы и готова была приподнять ее над головой для принятого в обиходе приветствия. Но, увидев меня, своего, Владимир Ильич улыбнулся и по-товарищески крепко тряхнул мне руку. Эта чуть мелькнувшая непосредственная улыбка осветила все радостью: Владимир Ильич никогда при встрече не дарил приветливостью, если бывал недоволен моей предыдущей работой.

— Газеты русские, питерские, получены? Есть у вас? От какого числа? — спросил Ленин вместо «здравствуйте».

И этот вопрос тоже обрадовал меня. Обыкновенно, если Владимир Ильич был недоволен, то суховато выговаривал при встрече принятые приветствия. А теперь он сразу ввел меня в общение с занимавшими его в эти минуты мыслями.

— Как там прошла годовщина девятого января? Много бастовало? Когда я выезжал, в Париже еще не было русских газет от 9-го. К вам северный экспресс приходит, наверное, раньше; ну, что ж там? Рассказывайте.

— В Питере, Владимир Ильич, больше полутораста тысяч бастовало, а в остальных городах очень понемногу.

— А точно, где сколько? Неужели не запомнили? Можно ли не запомнить?

— В Риге тысяч около ста.

— А в Москве?

— Не больше десяти тысяч. В Киеве, Николаеве тоже вроде этого, а в Твери, Варшаве меньше чем по пяти.

Владимир Ильич на еле заметное мгновенье остановился в передней, как будто взвешивая полученные сведения. В нем опять была та же сосредоточенность, в какую он был погружен, когда я увидел его приближавшимся к подъезду.

Оставаясь в своей сосредоточенности, Владимир Ильич с привычными, четкими, точными, живыми, но спокойными, неторопливыми движениями снял пальто, повесил его, затем положил на верхушку шляпу, размотал с шеи потертое кашне. Я, вопреки принятому обычаю помогать гостю при раздевании, Владимиру Ильичу не помогал, зная, что он этого не позволяет, и если ему помогают, то хмуро сердится на это, как на досадливую помеху.

Я повел Владимира Ильича вверх по лестнице в свою комнату над бельэтажем, и Ленин не оставил в передней, а захватил с собой всегда сопровождавший его в путешествиях маленький кожаный дорожный саквояж, много на своем веку видавший, но всегда блестевший, как будто дорожная пыль и грязь его обходили.

С момента, как только Ленин поздоровался и заговорил, у меня родилось вначале смутное, а затем все более усиливающееся ощущение, что гость приехал не из такой же заграничной эмиграции, в какой жил я сам, а прямо из России.

Седьмой год шел с того дня, как Владимир Ильич по льду Финского залива вышел из России, а все казалось, что за границу он только что приехал и что за границей он только временный, случайный гость, а всем духом своим на родине, в огне непрекращающейся битвы. Круговорот эмигрантской жизни не мог подчинить его себе. Его ощущения и оценки русских явлений оставались свежими и точными, и во всем своем обхождении с людьми он сохранял какой-то русский лад.

— У вас выспаться в тишине можно? — спросил Ленин. — Мне ровно на один час. Заметьте по часам. Если не проснусь, — пожалуйста, разбудите. Вы ведь не уходите? Я не спал ночью. Ох уж эти французские вагоны. Да и вообще европейские вагоны плохие. Наши русские куда удобней.

Войдя в комнату, Ленин поставил свой саквояж в сторону, так, чтобы он не мешал, не лез в глаза, но и был под рукой, когда понадобится. Он умел, не ища, мгновенно находить каждой вещи должное место в окружающем его обиходе.

Стоявший в углу за ширмочкой ветхий чемодан мой вызвал улыбку у Владимира Ильича.

— Починить отдать надо вам эту штуку. Время такое, что нашему брату следует держать чемоданы

в порядке: того и гляди в Россию собираться будем. Ну, дайте пробежать газеты. Где они у вас?

В две-три минуты Ленин проглядел газетные листы и спросил меня, не отрываясь от чтения:

— Можете мне этот номер оставить в собственность?

Я ответил:

— Могу.

Тогда Владимир Ильич сделал торопливо, резко два отчеркивания красным карандашом.

— А теперь немедля спать. Где же можно будет, чтобы не стеснить? Пожалуйста, только мне ничего не надо, кроме как умыться.

Я привел в порядок умывальник и налил в кувшин воды, потом зажег газовый камин.

— Пожалуйста, Павел, не надо. Я сделаю все сам. Идите занимайтесь вашими делами.

Я вышел и вернулся с теплым пледом.

— Это вам еще на ноги, Владимир Ильич, теплее будет.

Но Ленин не ответил. Он был уже в постели, закрыл глаза. Пока я ходил разыскивать плед, Владимир Ильич успел умыться, раздеться и улечься. Я осторожно положил плед в ногах кровати. Ленин не открыл глаз, он уже начал засыпать.

● ● ●

Я ушел в соседнюю комнату. Но, оставшись один, не мог ничем заняться. Присутствие в доме Ленина заполнило все мои мысли и ощущения. Охваченный

непонятным мне самому волнением, я взял стул и поставил его у стены, отделявшей меня от комнаты, где спал Владимир Ильич. Сев на стул, я прислушался. Мне показалось, что я слышу мерное дыхание спящего. Закрыв глаза ладонью и глубоко сосредоточившись в себе, я подумал: «Если бы понадобилось умереть мне за него, с какой бы готовностью и радостью я за него умер». И в то же мгновенье я застыдился своего душевного состояния, взволновавшие меня приподнятость и нежность показались мне неуместными для закаленного революционера. И еще мне показалось, что если бы Ленин знал, то строго осудил бы, что мысли заняты не тем, чего в эти минуты требуют настоятельные дела.

Я с раздражением на самого себя поднялся со стула, отошел к окну и стал думать, о чем мне предстоит рассказать Владимиру Ильичу. На этот раз я должен буду сообщать только о неприятностях.

Тысяча девятьсот четырнадцатый год начинался, казалось, хорошо. Тяжелые времена усталости и оцепенения, наступившие после поражения революции девятьсот пятого года, уходили в забвенье. Пробужденье, раз вспыхнувши и переломив сон, крепло. С конца десятого года Россия пришла в движение, и это движение всеми видимыми и невидимыми путями нарастало. Вёсны всегда начинаются среди зимы. Первый знак и проблеск весны загорается в январском голубеющем небе, когда еще давящие снега покрывают землю. Солнце, по народной примете, по-

ворачивает в конце декабря на лето, и в тот самый день зима поворачивает на мороз.

Каждая новая весть, приходящая из России, приносила новую надежду. Ленин в открытке перед первым январем писал мне, что до сих пор новогодние собрания эмигрантов были сочельниками воспоминаний, а теперь, перед четырнадцатым годом, это будут вечера надежд. Революция снова стояла у порога России.

Но чем круче поворачивало солнце на лето, тем злее поворачивала зима на мороз. Против революции воздвигались препятствия все разнообразней и все изощренней: и законодательство, насаждающее мелкого крестьянского собственника, и полицейские преследования, и провокация, и отупляющая проповедь бездеятельного неверия.

Как на повороте зимы солнце и стужа идут вместе, так и перед революционным русским ледоломом силы живительные и силы мертвящие смешивались меж собою. Готовились новые битвы. Сторонники и враги революции мобилизовались. Острее шли размежовки между действительными революционерами и теми, кто только изменнически прикрывался революционными словами.

Таково было подъемное, но смутное время. И сильней всего междоусобица была в многочисленных и разношерстных штабах политической эмиграции.

Наперерез внутренним российским событиям надвигалась мировая война: в 1911 году война Италии и Турции из-за Триполитании, в 1912 году — война

балканских союзников с Турцией, в 1913 году — война между балканскими союзниками по подстрекательству Германии и Австрии.

В этой сложной обстановке председатель Интернационала Эмиль Вандервельде, а вместе с ним и весь Исполнительный комитет готовы были примириться с надвигающейся войной как роковой неизбежностью и уже начинали заранее искать оправданий для своего будто бы вынужденного бездействия. Застрельщиками примирения с войной как неотвратимым фактом были в Международном социалистическом бюро немецкие и австрийские социалисты. А Ленин в это время упорно, шаг за шагом, обучал, сплачивал, строил в боевые порядки передовые отряды тех будущих многомиллионных революционных сил, которым предстояло на протяжении грядущих десятилетий вести бои. Он видел на столетие вперед. Ради будущих побед ему нужно было освободить основное ядро будущей революционной армии от неустойчивых, колеблющихся и изменнических спутников.

Интернационал же видел только то, что было непосредственно перед его глазами. Для русского революционного движения он также рекомендовал мир и соглашение между сторонниками революции и изменниками революционному движению. На декабрьском заседании в Лондоне Исполнительному комитету было поручено начать подготовку к объединению всех без исключения течений российской социал-демокра-

тии. Бездеятельный перед надвигающейся войной, Интернационал обратил свою энергию на защиту от Ленина тех, кто вносил разложение в русское революционное движение.

II Интернационал собирал силы против Ленина. Борьба внутри российской социал-демократии перерастала русские рамки, приобретая значение международное. Гроза нависала.

В этот раз я должен был сообщить Владимиру Ильичу о том, что подготовлялось против него за кулисами II Интернационала.

● ● ●

Я спохватился, когда прошло больше часа. А ведь Ленин просил разбудить его ровно через час.

Я тихо постучал в дверь — в ответ ни звука. Постучал еще раз — и опять ответа не было. Я взялся за дверную ручку, чтобы осторожно приоткрыть, но чуть не упал: дверь дернулась внутрь и широко раскрылась. Владимир Ильич смеясь сказал:

— Ай-ай, вот и надейся на вас! Хорошо, что я сам проснулся. И заметьте, минута в минуту, как сам себе назначил. Хотите, я вас этому обучу? Просыпаться ровно когда надо. Впрочем, проснуться не так трудно, как заснуть по собственному желанию и на самое короткое время. Для этого надо уметь выключить работу сознания. Мне это иногда удается. Попробуйте. Это очень увеличивает работоспособность.

Владимир Ильич был уже одет, двери балкона были настежь открыты, а кровать аккуратно застелена, плед положен отдельно и так, чтобы можно было его взять, не нарушая обычного расположения других вещей.

Все в комнате до мелочей оставалось точно на тех же самых местах, где было в ту самую минуту, когда я оставил Ленина в комнате одного. Мне это было хорошо знакомо: Владимир Ильич, располагаясь в чужой комнате для отдыха или для работы, всегда до щепетильности старался, как бы не сместить ни одной вещи и тем не потревожить порядка, заведенного хозяином. В чужом интимном углу Владимир Ильич держался с бережной осторожностью. Он никогда не садился на стул, если надо было предварительно с этого стула что-либо снять, а если хозяин догадывался снять без просьбы, то Ленин уговаривал его не беспокоиться. В этом сказывалась его чуткость и уважение к чужому стремлению жить по-своему и на свой лад.

Ленин достал из саквояжа перевязанное ленточкой, чтоб не трепалось, издание формата в половину газетной полосы, под названием «Feuilles Littéraires» («Литературные листки») с очерком бельгийского писателя Камилла Лемонье «Груды костей» — о Седанской битве 1870 года.

— Не помните? Я взял у вас в мой прошлый приезд.

— Не стоило вам, Владимир Ильич, об этом помнить. Этому же цена десять сантимов.

— Я обещал вам вернуть. Кстати, это очень интересное дело — издавать хорошие книжки в виде газеты и по цене газеты. Не находите?

— А вы знаете, Владимир Ильич, я жил одно лето недалеко от Седана и Мезьера, в долине Мези, я очень живо представляю себе многие детали этой трагедии. И мне кажется, что Золя в своем «Разгроме» прав.

— В чем же он, по-вашему, прав?

— В том прав... он говорит, что истинно человеческий, благородный героизм на войне встречается только среди побежденных армий.

— Постарайтесь, Павел, отучиться от пристрастия к таким отвлеченным, неконкретным положениям. Представьте себе: турки бьют итальянцев в Триполитании, — что же, по-вашему, истинный героизм появился бы среди побежденных итальянских солдат? Конечно, нет. Какое им дело до Триполитании? Истинная трагедия Седана для французов не в поражении, а в том, что французским крестьянам и рабочим в сентябре 1870 года приходилось защищать родную землю от иноземного нашествия под командой и руководством злейших врагов французского народа, Наполеона Третьего и его правительства, которое прежде всего должно было быть свергнуто в интересах обороны Франции. Разумеется, о каком бы можно было говорить героизме, если бы французские солдаты Наполеона Третьего начали побеждать и сами стали бы под его водительством захватчиками? Однако представьте себе победитель-

ницей армию Коммуны. Эта армия, несомненно, показала бы самые лучшие примеры при всяких условиях, в том числе и при победе, конечно.

Было еще рано, и я пригласил Владимира Ильича спуститься вниз в столовую хозяйки позавтракать. Владимир Ильич согласился, но предложил сначала наметить расписание предстоящего дня.

Предстоял сильно занятой день.

Вечером в семь часов Владимир Ильич должен был читать реферат о национальном вопросе. В это время был с большой остротой поставлен в рядах партии вопрос о праве наций на самоопределение.

В 1913 году появилось несколько печатных выступлений Владимира Ильича по национальному вопросу. Поэтому латыши-ленинцы Земель-Берзин и Карльсон просили выступить Ленина с рефератом по национальному вопросу на 4-м съезде латышских социал-демократов.

Дела же у латышей сложились так, что национальный вопрос едва ли будет поставлен на повестку дня съезда. Обсуждения этого вопроса на съезде боялись все оттенки меньшевиков, этого боялись все оттенки «примиренцев». Они настойчиво бубнили перед Владимиром Ильичем о том, что не следует перед съездом «разжигать страсти», не следует под флагом национального вопроса «критиковать августовский блок за измену партийной программе в национальном вопросе».

Но противостоять открыто живейшему желанию делегатов-рабочих послушать Ленина меньшевист-

ские латышские дипломаты, очевидно, не решались из боязни раскрыть заранее свои антипартийные карты. Они прибегли только к мелкому жульничеству и уговаривали делегатов по уголкам, шепотком, чтобы «по возможности не обострять страсти», «и лучше воздержаться от прений» и своим воздержанием от прений придать докладу скорее характер информации со стороны приглашенного гостя.

В связи с этим решено было устроить закрытый реферат только для делегатов съезда. Реферат должен был как бы восполнить в какой-то степени снятие национального вопроса с повестки съезда. Вопреки всему он должен был довести до делегатов ленинскую постановку вопроса. А среди делегатов было, насколько помню, большинство рабочих с мест.

Решено было устроить реферат накануне съезда. Владимир Ильич придавал большое значение именно тому, чтоб накануне съезда сделать реферат. Помимо политических соображений за это говорило и то, что в ходе работы съезда трудно было бы выбрать для реферата такое время, когда все делегаты были бы свободны.

До реферата надо было увидеться и посовещаться с бельгийскими моряками, с которыми я завязал знакомство через брюссельские организации бельгийской рабочей партии.

Пересылка в Россию партийной революционной литературы, которая печаталась вне власти «недреманного ока» царской цензуры, была важнейшим делом наших партийных организаций за рубежом.

Так было особенно во времена «Искры». Тогда практика выработала много приемов, и способов, и путей: например, пересылка литературы довольно большими партиями через моряков на судах, идущих в черноморские порты, затем отправка по железной дороге в чемоданах с двойным дном; или при помощи отважных, преданных людей, на которых надевались специально изготовлявшиеся «корсеты» из прессованной литературы, печатавшейся на папиросной бумаге; и, наконец, совсем кустарным способом — по почте на индивидуальные адреса в обыкновенных конвертах, куда вкладывался очередной номер нелегальной газеты на папиросной бумаге; номер предварительно обрызгивался водой и хорошо проглаживался горячим утюгом до тончайшей спрессованности.

Однако с тех пор, как стала выходить легально в Петербурге ежедневная «Правда», старые способы транспортировки стали отпадать, да и сама роль нелегальной литературы как средства пропаганды и агитации в широких массах изменилась.

Очень важным обстоятельством был также и переезд Владимира Ильича ближе к русским пределам, то есть из Парижа в Краков; облегчались и стали чаще приезды русских партийных работников к Владимиру Ильичу.

Но все-таки и во времена «Правды» не пренебрегали мы и всяким представлявшимся удобным случаем переброски литературы и старыми способами.

Эти моряки отправлялись в скором времени из Антверпена на бельгийском торговом судне в южные русские порты. Я предложил при их помощи переправить в Россию нелегальные партийные издания. Владимир Ильич одобрил и пожелал сам присутствовать при первом деловом разговоре.

Свидание назначили в одной из задних комнат кафе Народного дома бельгийской рабочей партии.

В первой половине дня время должно было уйти на сообщения мои о делах Интернационала и на ознакомление Владимира Ильича с письмами от русских организаций, которые вели свою переписку с большевистским центром по адресам разных почтенных бельгийцев; получая из России письма, те сдавали их мне нераспечатанными.

— Так вот какой наш день, Владимир Ильич: до половины первого мой рассказ вам о делах в Интернационале и просмотр русской переписки, потом обед, легкий кейф; можете по обыкновению обыграть меня в шахматы или, тоже по обыкновению, проиграть мне в шашки.

— Ну это еще, батенька, бабушка надвое сказала...

— Затем от трех до пяти видимся с матросами, потом перерыв, а к семи на реферат в ресторан «Золотой петух», я снял там верхний изолированный зальчик. Согласны?

— Согласен, но с сожалением. Опять не удастся нам урвать хоть часик на осмотр Института Сольвея. Не много ли вы кладете на вашу информацию и на просмотр почты?

На этот раз я в распределении времени несколько слукавил. Мне хотелось уговорить Владимира Ильича повидаться в тот же день утром с председателем Интернационала Эмилем Вандервельде. Сказать об этом раньше, чем представить Владимиру Ильичу положение дел в Интернационале, я не решился. Я знал, как Владимир Ильич не любит и старается всегда избегать «дипломатических», непубличных встреч с руководителями Интернационала.

Позавтракали не торопясь, но очень быстро. Владимир Ильич за столом в обращении с хозяйкой пансиона выполнил все, что требовал принятый обиход. Были сказаны все приветствия, поставлены все вопросы о здоровье, о житье-бытье и даже поддержан разговор о несносной бельгийской погоде, удовлетворено любопытство мадам Артц о зиме, какая стоит в нынешнем году в Париже, и сказано в утешение, что лондонские зимние погоды хуже. И все это в очень приятной манере, но в сверхскупой краткости, каждый ответ в точных пределах поставленного вопроса и таким образом, чтоб плавный разговор укладывался, не нарушая взятого темпа завтрака.

● ● ●

— Ну-с, займемся нашими делами, — с живостью и возбуждением сказал Владимир Ильич, когда мы вернулись в верхнюю комнату. — Расскажите, что говорится и предпринимается в Интернационале нового. Я выехал из Кракова в Париж почти неделю

тому назад и не видал ваших писем, следовательно, от середины января.

Ленин зашагал по комнате из угла в угол. Я стал рассказывать не в последовательной связи, а вырывая из событий только существенное ядро. Долгая практика научила меня такой манере. Владимир Ильич, пока не узнавал главной сути, слушал нетерпеливо и опускал подробности, но зато когда добирался до главной сути, то, бывало, придирчиво добивался, чтоб я вспоминал и восстанавливал самые, казалось, мелкие подробности, если они нужны были ему для освещения главной сути.

— Общую обстановку, международную, в Европе, Вандервельде сейчас не считает угрожающей... Последствия балканской войны погашены до последней искры, по его мнению.

— А Жорес?

— Не так уверен.

— Неопределенно. У вас откуда это впечатление?

— Удалось с ним поговорить после его беседы с Вандервельде.

— Долгий разговор был? Подробный?

— Нет, на ходу.

— А Виктор Адлер?

— Тот считает, что война между славянами, балканскими союзниками, так ослабила позиции России на Балканах, что там все затихнет. Смолчала же, говорит, Россия после аннексии Боснии и Герцеговины в девятьсот восьмом году.

— Какой без пяти минут министр. Это у вас откуда? С ним самим разговор?

— Нет. Это передавали мне в Исполнительном комитете.

— Давайте ближе к делу.

— Во всяком случае, на ближайшее время не предполагается ничего ставить на бюро из вопросов международной обстановки. Приезжал сюда недавно из Берлина Гаазе. Мне Вандервельде рассказывал, что у них был разговор по душам за ужином. Гаазе теперь, по словам Вандервельде, самый влиятельный среди левых руководителей социал-демократических депутатов в рейхстаге. Он сказал Вандервельде, что если германские империалисты посягнут на мир в Европе, то германская социал-демократия серьезно задумается над вопросом о всеобщей забастовке.

— Болтун! — резко и сурово бросил Владимир Ильич, перестав шагать по комнате, и, вдруг остановившись передо мной, посмотрел строго мне в глаза и сделал жест рукой, который как бы приглашал кончить такой пустой разговор.

— Вы подождите, Владимир Ильич. Гаазе прибавил, что германская социал-демократия может от слов перейти к делу, в случае нужды начать подготовку умов внутри партии, если бы в подходящий момент Интернационал признал положение острым.

— Врун!

— И Гаазе еще сказал, что Интернационал мо-

жет положиться на решительность германской социал-демократии.

— Какой болтун!

У меня оборвались все нити мыслей и ссыпались с языка все заготовленные слова. Владимир Ильич подошел к балконной двери и открыл ее настежь, как будто ему стало душно. В комнату ворвался свежий влажный ветер. Я не решался продолжать. Мы помолчали несколько мгновений. Ленин ходил по комнате. Потом он повернулся ко мне спокойно и с улыбкой, очень дружески сказал:

— Вот что, батенька, запишите-ка себе поручение. В прошлый мой приезд вы рассказывали про заметку в какой-то католической газете, что будто то ли уже состоялись летом, то ли предполагаются на весну маневры бельгийской армии.

— Да-да, верно, Владимир Ильич, это было в газетах, и была указана тема маневров: одна армия представляет армию вторжения в Бельгию со стороны германской границы, а другая защищает переправы через Мезу и проходы через Арденны на запад к Франции.

— А вы не можете, батенька, достать эту заметку? Или списать в библиотеке? Сделайте, пожалуйста. Разыщите, где точно было напечатано. И вообще берите на замет все факты о подготовке войны, все крупное и мелкое, одинаково. Кстати, вы мне обещали разузнать, что писалось в голландской прессе о давлении Германии на Голландию в вопросе об укреплении Флиссингена и вообще входов в

Шельду и также о том, что писалось о позиции Англии в том же деле. Запишите и это себе как поручение. Записали?

Я только теперь наконец оправился от своей растерянности перед бурей негодования, которую навлек мой рассказ о Гаазе.

С обидой я сказал:

— Я не знаю... почему вы так на меня...

И вдруг мне сделалось стыдно: что за ребячество я допустил: гнев же не против меня, а вышло, как будто я укоряю Владимира Ильича за резкость к Гаазе; мне-то надо же помнить, что Владимир Ильич всегда горяч в выражении своих чувств и что в личном общении он не терпит проявлений излишней чувствительности, что он воспринимает это, как мы обычно воспринимаем малодушие, дряблость или слабость, и что при таких проявлениях ему обыкновенно становится неловко за своего собеседника, а иногда это вызывает его резкий приговор о человеке: «Кисель!»

Владимир же Ильич, сделав два-три глубоких дыхания, повернулся ко мне:

— Вам, может быть, холодно? То закроем.

И без всякой паузы продолжал:

— Гаазе — фразер. Акробат фразы. Он говорил с Вандервельде, как богатый родственник с бедным. Перед англичанином он говорил бы иначе. С англичанином он стал бы торговаться: «Мы-то, мол, свое и так уж достаточно дали, а как, мол, вы будете действовать перед опасностью войны, что вы може-

те предложить?» Им все кажется, что каждый из них, борясь против войны, делает одолжение и уступку другому. Вся эта братия, с которой мы с вами имеем дело в Международном социалистическом бюро, принимает опасность войны только с национально ограниченной точки зрения, а не с общей. Каждый требует решительности от другого, а для себя обязательно находит особые извинительные обстоятельства, оправдывающие его бездеятельность. Оттого они все, вместе взятые, не представляют большой помехи для тех, кто готовит войну. Понятно вам? А потому — хорошенько это себе заметьте — мы обязаны следить за малейшим фактом, за малейшим аргументом, за малейшим словом, — слушаете, Павел? — за самым малейшим штрихом во всей этой темной кухне, во всем этом колдовстве, где заколдовывают, а больше наколдовывают войну. За всем этим мы должны, мы обязаны следить неослабно. Наша информация должна быть возможно полней. Факты, факты, факты. Кстати, почему молчите о китайских бюллетенях?

— Я их забросил, Владимир Ильич.

— То есть как это так забросили?

За несколько месяцев до того, летом 1913 года, я случайно узнал и сообщил Владимиру Ильичу, что местное китайское посольство в Брюсселе стало издавать еженедельный бюллетень дальневосточных новостей. Бюллетень печатался на пишущей машинке, размножался в очень ограниченном количестве, предназначался для редакций брюссельских газет и

для отдельных интересующихся журналистов; получать его можно было за плату в пятнадцать франков в месяц. Владимир Ильич разрешил мне этот расход. А когда я сообщил Владимиру Ильичу взятое из этого бюллетеня содержание англо-тибетского договора — и сообщил это раньше, чем договор был опубликован в западной и русской прессе, то Владимир Ильич был этим очень доволен и наказал мне подписку на бюллетень не бросать и постараться использовать факты бюллетеня для статей в «Правду». «Правду», особенно «Правду» не забывайте, ведь это, Павел, как бы было здорово, если бы мы могли опубликовать то, что буржуазной прессе выгодно утаивать от рабочей публики».

— Ну и что же, вы больше не подписываетесь на бюллетень? Прекратили? Почему же вы это сделали?

— Я вижу, Владимир Ильич, что это инспирированная информация. Это агентура диктатора Китая Юань Ши-кая, для обработки европейских газет.

— А вы умейте разбираться и в инспирированной информации. Возобновите подписку обязательно. Факты, факты, факты. Умейте отсеивать факты. Особенно сейчас. Национализм всюду наступает. Атмосфера накалена.

— Так ли уж она накалена, Владимир Ильич? Помните, как-то осенью одиннадцатого года вы наезжали на денек в Брюссель. Вы остановились тогда не у меня, а пошли ночевать в «Отель де Рюсси» в Икселе... Я вас провожал вечером. Мы были уже

на пороге гостиницы и прощались. В это время пробежал газетчик и выкрикивал: «Война! Объявлена война!» И мы тут же с вами прочли под фонарем, торопясь, экстренный выпуск. Это было в начале войны Италии и Турции из-за Триполитании. Помните, как мы разволновались? Вы не захотели идти спать и предложили пройтись по Авеню Луиз до Кемврийского леса. Мы вспоминали в этот вечер о Кемврийском лесе, — когда-то он был препятствием, остановившим нашествие Цезаря. Помните, вы говорили тогда, что триполитанская война может быть сигналом к общеевропейской войне, — что ослабление Турции вызовет войну на Балканах, а война на Балканах вызовет войну Австрии и России, и так дальше, и так дальше. Мы долго тогда с вами гуляли и не хотели возвращаться домой. Казалось, мы находимся накануне самых больших событий. А на самом деле все отшумело и улеглось. Обе балканские войны кончились, и все обошлось без вмешательства великих держав в войну.

— Берегитесь, Павел. Это у вас пунктик, вы мне в конце триполитанской войны говорили о том же: вот, мол, мы-то гадали, что общеевропейская война на носу, а вот, мол, триполитанская война кончается, а Балканы и не думают трогаться. На деле же, глядь, через короткое время вспыхнула война на Балканах. Так оно и шло: в одиннадцатом — война в Триполитании, потом короткий перерыв, в двенадцатом — первая балканская война, за нею вторая. О том, что по окончании второй все успокоилось на-

долго, делать выводы рановато. Войны готовятся не открыто на площадях, а в величайшей тайне. Рассказывайте, что у вас есть еще.

Я быстро рассказал все, что знал о текущих мероприятиях Исполнительного комитета, и наконец перешел к тому, что считал самым важным, самым настоятельным и самым тревожным из всех соображений, какие мне предстояло сегодня сделать Ленину.

— Затеваются очень скверные вещи, Владимир Ильич. Мы стоим перед тяжелым ударом. Против нас готовится небывалый концентрированный заговор по всей линии в масштабах всего II Интернационала.

Владимиру Ильичу было и без того хорошо известно, что, с тех пор как на лондонском заседании Международное социалистическое бюро поставило на очередь добиться единства русской социал-демократии и взяло на себя посредничество между враждующими течениями, интриги в Интернационале против большевиков обострились. Истинной целью МСБ была поддержка русских ликвидаторов.

— Знаете, Владимир Ильич, за последнюю неделю, буквально каждый день, в Интернационал являются разные патентованные авторитеты из разных фракций с рецептами объединения и с планами «укрощения» «раскольничьей» деятельности Ленина. За эту неделю в Интернационале под прикрытием «подготовки единства» происходит сплочение коалиции для разрушения того, что сделали

большевики по восстановлению подпольных рабочих организаций в России; шаг за шагом наши противники вербуют себе сторонников и друзей среди крупных деятелей Интернационала, которые раньше держались нейтрально. Можно считать, что за последнюю неделю блок в Интернационале против ленинцев уже создался и оформился. Тридцать фракций и течений русского движения объединились и действуют в Интернационале против нас сплоченным блоком. И в Исполнительном комитете говорят, что если так дальше пойдет, то...

Но мне не удалось договорить фразу — Владимир Ильич вдруг громко и весело рассмеялся.

— Что с вами, Владимир Ильич?

Ленин закинул назад голову и залился смехом еще более веселым и радостным.

— Чему вы смеетесь, Владимир Ильич?

Ленин быстро поднялся с места, подошел ко мне, хлопнул меня по плечу:

— Ах вы, милый батенька!

И снова засмеялся весело, легко.

Я вначале недоумевал: уж очень смех Ленина разрезал тот поток серьезных и глубоких тревог, какой владел мной в эти минуты. Но этот смех звенел так звонко и так юношески беззаботно... Я встретился глазами с Владимиром Ильичем и почувствовал, что тоже начинаю улыбаться, не зная еще сам — чему...

Владимир Ильич неторопливо, спокойно открыл снова балконную дверь. В небе голубела высокая

прогалина, чистая от туч. В ветре была приморская бодрящая свежесть...

Не раз бывало, особенно в тяжелые годы, десятый и одиннадцатый, когда, казалось, каждый день приносил утраты, измены, отпадение старых друзей, отречения, предательства и когда в заграничной большевистской эмиграции верными Ленину оставались едва ли даже десятки, а скорее единицы, — бывало так не раз, что в трудные минуты одно появление Ленина среди своих ломало уныние и рождало бодрость. Он, бывало, еще ничего не успеет сказать, а люди, ощутив его присутствие рядом с собой, уже менялись. Его спокойный взгляд, уверенный жест, улыбка, по-детски безоглядный смех, — все его существо излучало бесстрашие, ничем не победимое бесстрашие перед всеми препятствиями и бедами, какие могут стать на пути. От его одного только присутствия бежали все призраки поражения и смерти. Он разгонял их своей ничем не поколебимой убежденностью в победе.

Я ждал объяснения, почему Владимир Ильич встретил смехом мой рассказ о кризисном обороте дел в Интернационале. Но объяснение не приходило. Ленин молчал и только почти про себя, тихонько, весело насвистывал.

— Владимир Ильич, как бы мы ни были уверены в своей правоте, все-таки если Интернационал объявит нас виновниками раскола, то это будет для нас сильная помеха — и здесь, и в России. Вы только представьте себе, как далеко уже зашло дело...

Я стал приводить факты. Их накопилось очень много. Они показывали, что руководители Исполнительного комитета уже достаточно обработаны противниками большевиков.

— А вот вам еще, например, одно... Вы знаете, с сенатором-то все у меня лопнуло к чертям...

— Лопнуло? — с оживлением спросил Ленин, как будто забавляясь моим волнением.

В 1910 году на январском пленуме Центрального Комитета состоялась договоренность всех фракций о единстве в работе. Тогда большевики передали свои денежные средства для расходов на общепартийные дела. Деньги были вручены тройке нейтральных держателей — Каутскому и еще двум видным немецким социал-демократам. Было оговорено, что, если соглашение фракций будет нарушено, держатели обязаны вернуть деньги большевикам.

Владимир Ильич не одобрял этого соглашения и не верил в него. Он оказался прав: меньшевики нарушили договоренность почти сейчас же после пленума. Тогда большевики потребовали возврата сумм; деньги нужны были на первые шаги легальных изданий в России. Каутский и его «тройка» объявили, что «на раскол денег не дадут». Никакие мирные усовещания не помогли. Тогда Владимир Ильич поручил мне договориться с каким-либо известным в Бельгии адвокатом, по возможности социалистом, чтобы тот дал юридическое заключение о неправильных действиях держателей. Добившись такого заключения, я должен был представить его Вандер-

вельде и склонить председателя Интернационала к давлению на «тройку» Каутского. Выбор был остановлен на авторитетном юристе, члене Генерального совета рабочей партии, сенаторе В., находившемся к тому же в хороших личных отношениях с Вандервельде. Кроме меня еще двое товарищей, живших в Англии и Италии, получили от Владимира Ильича поручение добыть такие же заключения. Таким образом, предполагалось, что Вандервельде будут предъявлены внушительные документы.

— И представьте себе, Владимир Ильич, в последнюю минуту мой сенатор уж после того, как накануне прочел мне черновик заключения, вдруг увильнул. Это он учуял что-то в воздухе, — может быть, даже спросил у Вандервельде, и тот отсоветовал...

Чем больше приводил я печальных фактов, тем оживленней и даже как будто веселей становился Ленин. Мне это было хорошо знакомо. Препятствия всегда только раззадоривали и веселили Владимира Ильича. Преграды на пути вызывали в нем аппетит к действию. Чем сильней предстояло сопротивление, тем лучше становилось его настроение.

И еще казалось, что чем сложней перед ним положение, чем неопределенней исход, тем он делается спокойней и увереннней. Это было глубокое свойство его характера. Такова была его натура, созданная для борьбы.

— Или вот, Владимир Ильич, еще вам один возмутительный факт. Это уже на грани вызывающего

цинизма, это уже наглость, это почти провокация... и, заметьте, я думаю, чуть ли не намеренная... Вы помните дело Г.? Наша специальная комиссия — кажется, дело было в Берне — исключила его из партии как провокатора. А знаете, что делает Интернационал? Исполнительный комитет берет его на службу! Мне отвечают на протест: «Приговоры людей, раскалывающих партию, для нас неубедительны»! Что вы на это скажете, Владимир Ильич?

— А вы что-нибудь хотите предложить, Павел?

— Меня смущает, Владимир Ильич, что в Интернационале уже поговаривают, что вот, мол, после лондонского постановления все русские фракции спешат в Исполнительный комитет со своими соображениями об условиях единства. Одни только большевики ждут. Чего ждут? Очевидно, мол, не хотят единства? Саботируют, может быть? И я не знаю, но мне думается и хотелось бы вас спросить: не побывать ли вам сегодня у Вандервельде? Не будет ли так лучше? Может быть, ваш приход сразу бы разорвал всю сплетенную здесь меньшевистскими пауками сеть интриг.

Владимир Ильич вдруг стал внимательнейше вслушиваться в мои слова.

— Есть к тому же очень хороший предлог, Владимир Ильич, для вашего прихода. Вчера Вандервельде сказал мне, что он хотел бы частным образом расспросить вас лично и узнать, почему вы выдвигаете именно сейчас в порядок дня будущего съезда нашей партии национальный вопрос. Вандер-

вельде сказал: «Писать об этом Ленину не решаюсь. Об этом надо было бы при личной встрече поговорить». «Что вас смущает?» — спросил я Вандервельде. Он ответил: «Противники большевиков, особенно бундовцы, говорят Интернационалу, что в руках Ленина национальный вопрос сейчас только орудие раскола. Я оставляю это обвинение на их совести, — сказал Вандервельде, — но как председатель Интернационала я тоже нахожу, что делать сейчас национальный вопрос предметом дискуссий — это значит не уменьшать, а увеличивать препятствия к единству российской партии... Меня осведомили, — продолжал Вандервельде, — что в дискуссии по национальному вопросу, разгоревшейся теперь среди русских социалистов всех течений, большевики усилили нападки на своих противников. Должен ли я заключить, что эта работа служит расколу, а не объединению?»

Владимир Ильич прервал меня:

— А вы бы ответили Вандервельде, что он чудак, что он не видит дальше своего носа. Верно, дискуссия бьет больно националистов всех мастей и всех оттенков без исключения. Но она уже указывает и пути к объединению и к сплочению трудящихся всех национальностей России.

— В этом духе, приблизительно, я и ответил ему, Владимир Ильич. Тогда Вандервельде сказал: «Ваше сообщение, товарищ Павел, очень интересно». О какой новой интриге против нас думал Вандервельде при этом, я не догадываюсь. Но мне казалось бы,

Владимир Ильич, что ваше свидание и объяснение с ним многое бы могло рассеять.

— Нет.

Владимир Ильич сказал «нет» таким тоном, что я сразу замолчал. В спокойном голосе Владимира Ильича была такая твердость, что, казалось мне, спорить невозможно, просто физически невозможно.

Ленин спросил:

— Ну-с, вы уже всё рассказали? У вас сообщений никаких больше нет? Тогда разберем почту из России.

Я подал пачку нераспечатанных конвертов. Владимир Ильич сел у двери на стул, заложил ногу на ногу. Разрывая конверт за конвертом, он некоторые письма клал во внутренний карман пиджака, на некоторых делал пометки, причем держал бумагу и писал не на столе, стоявшем у самого его локтя, а на коленке. Бывало так, что иногда он предпочитал писать на коленке, особенно во время собраний и заседаний.

А некоторые письма он, прочтя, молча протягивал мне. Это были письма с хорошими новостями от партийных организаций; с мест сообщалось о росте влияния большевиков среди рабочих.

— Не надо смешивать, Павел, политиканство с политикой, — вдруг сказал Владимир Ильич, улыбаясь одному из писем, — наша сила не в закулисных ходах, а в нашей собственной реальной силе. Весь этот блок, все эти объединившиеся против нас фракции, о которых вы говорите, не больше как штабы

без армий. Это нули! Нули, нули и нули. Совершенно голые нули.

Покончив с письмами, Владимир Ильич посмотрел на часы.

— Уже около часа. Надо быть всегда аккуратным с обедом.

• • •

Решено было обедать не у моей хозяйки, а идти в ресторан, чтобы не терять времени на лишние разговоры, так как надо было к трем поспеть на свидание с матросами.

Перед выходом из дому, когда уже оба мы были в пальто, Ленин вдруг остановился передо мной и оглядел меня долгим, пристальным взглядом. Я спросил:

— Что вы так смотрите на меня, Владимир Ильич?

— Вы что-то немножко не тот стали. Что с вами, Павел? Вы чем-нибудь расстроены? Вы устали? Нездоровы? Вам, может быть, надо отдохнуть? Нет, нет, не качайте головой. Вы что-то грустите. Где причина?

— Не знаю, ничего за собой не замечаю, Владимир Ильич. И никакой причины нет.

— Если верно, что не знаете причины, то тем хуже. Надо обязательно всегда найти причину. Особенно такого состояния, как у вас сейчас. Найти и потом быстро ее устранить или хотя бы преодо-

леть. Как же иначе, батенька! Нельзя так! Да вы и сами это знаете. Но только что-то скрываете и хитрите.

Мне не хотелось говорить Владимиру Ильичу о личных своих неприятностях. К тому же в присутствии Ленина так поднимался дух и возрастало мужество, что всякие неприятности меняли свои масштабы — казались меньше. Поэтому-то я и скрывал и «хитрил».

Но скрыть что-либо от Владимира Ильича было нелегко. В общении с ним казалось, что он держит мысли и чувства собеседника освещенными под своим невидимым фонарем, — в них все ему видно и ясно.

Однажды Владимир Ильич сказал про Плеханова, что у него «физическая сила ума».

— Что это такое, Владимир Ильич, физическая сила ума? Я не пойму.

— А вот вы можете ведь сразу увидеть и отличить в человеке физическую силу. Войдет человек, посмотрите на него и видите: сильный физически... Так и у Плеханова ум. Вы только взглянете на него и видите, что сильнейший ум, который все одолевает, все сразу взвешивает, во все проникает, ничего не спрячешь от него. И чувствуешь, что это так же объективно существует, как и физическая сила.

К самому Владимиру Ильичу это было приложимо бесспорно. Его внутренняя сила чувствовалась с первого мгновенья, с первого взгляда на него.

• • •

Обедать Владимир Ильич попросил повести, где подешевле и где «есть настоящее мюнхенское пиво». Я предложил зайти в ресторанчик «Ватерлоо», где обед был дешевый, по франку. Но не было гарантий, что мюнхенское, которое там подают, настоящее мюнхенское.

— Да что вы, батенька! Знаете, как я люблю мюнхенское пиво? Во время конференции в Поронине я узнал, что верстах в четырех-пяти, в одной деревушке в пивной появилось настоящее мюнхенское. И вот, бывало, вечерами, после заседаний конференции и комиссий, начинаю подбивать компанию идти пешком за пять верст выпить по кружке пива. И хаживали, бывало, по ночному холодку налегке, наскоро.

За обедом Владимир Ильич выбирал блюда из обширного меню быстро, почти мгновенно. Я же раздумывал, советовался с официантом и два раза менял свой выбор. Владимир Ильич рассмеялся:

— Вы что-то сегодня совсем нерешительны. — Потом прибавил серьезно: — Нет, что-то с вами, Павел, происходит необычное. Вы чем-то расстроены?

Я ничего не ответил, а показал Владимиру Ильичу свежий номер газеты Густава Эрвэ «La guerre sociale» («Социальная война»).

— Не хотите ли взглянуть? Сегодня есть статья Эрвэ.

Говоря о министрах Франции, в своей статье Эрвэ писал: «Бывают такие мухи, которые садятся на

мед, а бывают, что садятся только на д...о; отличить их просто, первые летят от министров, а вторые облепляют министров».

Владимир Ильич любил в политической журналистике ясный, простой, выразительный образ, даже если этот образ был и немного грубоват.

Прочитав, Владимир Ильич сказал:

— Это ничего, что он не церемонится. Но в погоне за хлесткостью Эрвэ не прочь иногда приврать. А помните его же статью, после выборов в 1912 году, когда немецкие социал-демократы получили больше трех миллионов голосов?

Вспомнив об этой статье, Ленин рассмеялся и сказал:

— Сам-то этот автор политическая балалайка, но журналист яркий, черт его дери, образ-то какой, всякому понятный и запоминается.

И Ленин привел мне наизусть из этой статьи фразу, которую действительно я и до сей поры запомнил: «Trois millions de socialistes allemands ont pissé sur la poudre sèche de Guillaume» [1]. Ядреный образ. Но на деле-то порох остался сухой. Опасность войны не уменьшилась. Хлесткость, значит, пустая. Картинность языка для журналиста обязательна. Но лучше, например, у Крылова учиться. Он не жертвует правдой ради хлесткости. Он по-народному точен, меток.

---

[1] «Три миллиона немецких социалистов помочились на сухой порох Вильгельма».

Отмечу еще один штрих в манере Владимира Ильича работать.

Он тщательно следил за тем, чтобы работающий по его поручению был своевременно и хорошо информирован о том, что ему может помочь в работе. Его руководство было повседневным. Иногда в один и тот же день от него или Надежды Константиновны приходило несколько писем либо телеграмм, открыток. Указания Владимира Ильича были самого разнообразного рода. Иногда это было точнейшее предписание, что и как я должен сказать председателю или секретарю II Интернационала. И тогда требовалось без каких-либо отклонений передать именно данную формулировку; часто в таких случаях Владимир Ильич писал формулировки по-французски. Иногда же указывалась только цель, которую мне надо было добиться, а способы предоставлялось найти сообразно обстоятельствам.

После того как начала выходить «Правда», Владимир Ильич в письмах стал часто спрашивать: а что сделано вами для «Правды»?

• • •

В Народный дом мы пришли раньше часа, назначенного для встречи с бельгийскими моряками.

В зале нижнего этажа, где помещалось кафе, было шумно и полно народу. Это было место деловых свиданий работников бельгийской рабочей партии, профессиональных союзов, кооперативов. В верх-

них этажах Народного дома находились центральные органы руководства рабочим движением. Здесь же, на четвертом этаже, были отведены комнаты и для Исполнительного комитета Интернационала.

Мы с трудом пробирались сквозь толпу к комнате, где было условлено свидание с моряками. Но не успели мы войти, как с площадки лестницы, ведущей к служебным помещениям, нас окликнули. Это был Вандервельде, поднимающийся наверх.

— Ну, значит, сама судьба, — сказал я и прибавил, понижая голос, хотя нужды в этом не было, так как я говорил по-русски и Вандервельде не смог бы понять: — Хорошо бы сделать вид, что мы шли к нему.

Вандервельде задержался, поджидая:

— Я очень рад встрече. Вы ко мне?

— Я тоже очень рад. Но я шел по другому делу и не имею необходимости отнимать у вас время.

— Разве так уж у вас абсолютно нет ко мне дела?

— О нет, не абсолютно. У меня к вам просьба. Я писал об этом, — Владимир Ильич сделал жест рукою в мою сторону.

Тут я вспомнил, что действительно у меня значилось одно невыполненное поручение Владимира Ильича — попросить у Вандервельде снятые им на конгрессе Интернационала в Копенгагене фотогра-

фии различных групп делегатов, в том числе и русских.

Об этом теперь Владимир Ильич и заговорил. Вандервельде улыбнулся приятной улыбкой, но чуть скривил край рта:

— Notre ami Paul мне об этом говорил.

Я, однако, точно помню, что еще не говорил.

— Но у меня есть к русским социал-демократам дело. Я вас прошу подняться со мной, если располагаете временем.

Обращение Вандервельде было всегда и со всеми исполнено непринужденности, взвешенной и обдуманной. Его манеры были очень просты. Его костюм был рассчитан на встречи с людьми простыми. Свои мысли он выражал, избегая усложнений и в коротких простых фразах. Словом, для того, чтобы произвести на окружающих впечатление простоты, в нем соединилось все, кроме лишь самой простоты. Ему была чужда непосредственность. Среди ораторов Интернационала Вандервельде был самый изящный, и никто так, как он, не щеголял скупою точностью и ясностью фразы, отчетливым планом аргументации, хорошо рассчитанным чередованием повышений и пауз вообще, так сказать, драматургическим строением своих речей, в которых была всегда содержательная завязка, сильное напряжение и блестящая, неожиданная развязка. Однажды, произнося речь на митинге, он взмахнул рукой так сильно, что сорвалась и полетела в публику манжета. Зал зааплодировал этому бурному проявлению чувства. Впо-

следствии мне привелось быть свидетелем, как перед выступлением заранее отстегивалась от рукава рубашки манжета. Но все-таки, даже зная заранее, что эффект обдуман и приготовлен, я, когда снова увидел манжету летящей в первые ряды слушателей, был под впечатлением непосредственности этого жеста, — так хороша и актерски «искренна» была игра.

Владимир Ильич поручил мне отыскать моряков и, если они уже пришли, попросить их обождать.

• • •

Когда, выполнив это, я вошел в кабинет Вандервельде, я застал разговор обострившимся. Но, если бы не знать или отвлечься от смысла того, о чем говорилось, можно было бы подумать, что идет обыкновенная спокойная беседа, — так невозмутимо держались оба собеседника.

— Никаких компромиссных сделок ни искать, ни предлагать, ни обсуждать мы не будем, — говорил Владимир Ильич, не торопясь, отчетливо отрубая рукой такт, смотря прямо в лицо собеседнику, — никаких идейных уступок им не сделаем.

Странно было, что Вандервельде кивал при этом головой в такт движению руки Ленина, как бы восхищаясь и одобряя. Это была его обычная манера — как он сам говорил — «поощрять собеседника быть самим собою». Ленин продолжал:

— Поэтому нам совершенно не нужны никакие предварительные закулисные сговоры ни с нашими противниками, ни с теми, кто взял на себя посредничество.

— И, значит, со мною?

— Да, и с вами, если вы видите вашу цель только в том, чтобы добиться от людей, стоящих за укрепление нашей партии, и от людей, стоящих за упразднение нашей партии, от людей, держащих курс на вторую революцию, и от людей, считающих революцию в России конченной, — добиться от тех и других полюбовного принятия какой-нибудь формально единой бумажной резолюции.

— Простите, а какие методы предлагаете вы взамен так порицаемых вами деловых предварительных собеседований о практических возможностях единства?

Владимир Ильич сильно потер ладонью лоб. Я знал — это признак того, что Владимиром Ильичем начинает овладевать раздражение.

— Мы хотим открытого изложения всей суммы своих взглядов всеми заинтересованными сторонами, чтобы каждая сторона отвечала за свои взгляды перед рабочим классом. Наши условия объединения мы, посоветовавшись с нашими организациями, сформулируем со всей отчетливостью и прямотой...

— Когда же именно?

— Когда вы назначите открытый обмен мнениями между всеми течениями, как это предусмотрено лондонским постановлением.

— Словом, вы хотите турнира мнений. Не так ли?

для обострения разногласий? Не правда ли? Но это была бы забава сектантов. Не так ли?

Владимир Ильич посмотрел на Вандервельде так, как будто он взвешивал его на ладони. Ленин снова потер лоб и на мгновенье закрыл ладонью глаза. Но внешне он сохранил полное спокойствие, и взгляд его был окрашен насмешливой улыбкой. Вандервельде поправился:

— Говоря о сектантах, я никого не имею в виду лично. Сектантство — удел всех отсталых рабочих движений. А Россия все-таки страна отсталая.

• • •

Однажды на дальней прогулке, когда все обо всем было переговорено, я пожаловался, как бывает горько иногда в разговорах с иностранцами признавать Россию отсталой, как тяжело слушать об ее язвах. Владимир Ильич отозвался:

— Это вы что-то неожиданное сейчас сказали. Это вы сказали хорошо. Помните, может быть, у Некрасова:

Кто не знает печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

После этих слов мы оба шли долго молча. И вдруг Владимир Ильич сказал, как будто вне всякой связи с предыдущим разговором:

— Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Плохо знаете? Широка! Необъятная ширь... Так широ-

ка... — Он остановился и помолчал, не то вроде подыскивая слова (а этого с ним не бывало, чтобы он подыскивал слова в разговоре, они находились у него сами собой), не то задумавшись о чем-то ином, не касающемся разговора. — Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали... и над рекой, бывало, стелется неизвестно откуда песня... И песни же у нас в России!

Снова помолчали немного.

Владимир Ильич никогда не говорил о гибели своего брата Александра и даже, мне кажется, очень, очень настороженно не подпускал никого к этой теме. Никогда не упоминал его имени. И тут мне почудилось, что слышу в нем боль этой кровоточащей раны.

Вдруг он сказал, не обращаясь ко мне, а как бы про себя, стихи из пушкинской оды «Вольность»:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Я почувствовал, что его мысли где-то, в чем-то далеком.

Но так же неожиданно он вернулся к нашей теме:

— А какой пролетариат! Где еще найдутся в другой стране такие рабочие, как наши русские. А какие имена знает наша история, девятнадцатый век хотя бы! Ну, извините, нам нет оснований голову вешать.

• • •

Вандервельде сказал об отсталости России и о сектантстве и, очевидно, ждал от Ленина гневной вспышки. Но Владимир Ильич только усмехнулся. Ему хорошо была известна ограниченность реформистов типа Вандервельде.

И в этой усмешке без слов было так много превосходства над чванливым самодовольством Вандервельде, что тот сейчас же переменил тему разговора. Не он один — многие, случалось, пасовали перед насмешливым взглядом прищуренных глаз Владимира Ильича.

— Итак? На чем же мы резюмируем? — спросил Вандервельде.

— Итак, я откланяюсь, — сказал Владимир Ильич, — если у вас нет больше вопросов.

— А какой же вы сделаете прогноз относительно объединения?

— Это решится в зависимости от реальной силы наших рабочих организаций.

— Значит, вы предпочитаете апеллировать к силе, а не к праву?

— Простите, это — не больше как пустая игра словами. Наша сила только в том, что рабочие доверяют нам и разделяют наши взгляды.

— Не ошибаетесь ли вы? Так ли вы сильны?

— Мы были бы очень рады, если бы вы это проверили и на месте убедились. Отчего бы вам не проехать, например, в Петербург? Нелегальные органи-

зации посетить, разумеется, нельзя. Но наши противники и не оспаривают нашего абсолютного преобладания в подполье. Они хвалятся лишь своим влиянием в легальном движении. Поезжайте, ознакомьтесь с легальными организациями, поговорите с рабочими. Я убежден, если вы пожелаете, наши друзья в России охотно...

Вандервельде перебил:

— Скрестят со мной шпаги, хотите вы сказать?

— А разве вы заранее готовитесь спорить с нашими рабочими?

— Но вы, очевидно, бросаете мне вызов?

— Называйте как угодно, но рискните поехать и стать лицом к лицу с фактами как они есть, а не как их изображают фракционные нашептыватели.

• • •

Свидание с матросами было коротко. Матросы пришли вдвоем: один совсем молодой, другой пожилой. Молодой, по фамилии Слякмельдер, пылал возбуждением. Его увлекало затеянное дело своей необычайностью. Ему нравилось представлять о себе, что он пускается по обманчивым волнам неверного моря в неизведанную страну Россию, лежащую где-то далеко на востоке. Может быть, его предки были отщепенцами общества и пиратствовали на море, а он теперь, видите ли, тоже вступает в бой с какими-то малопонятными, но, без сомнения, страшны-

ми силами мрака и зла, с царским самодержавием, о жестокости которого много слышал на митингах в Генте и Антверпене. Слякмельдер спешил сказать русским товарищам как можно больше о себе, но слушал рассеянно то, что говорилось ему о деле.

Пожилой матрос слушал внимательно, курил, не вынимая трубки изо рта, молчал и был непроницаем и недвижим, и только, когда речь заходила о практических деталях, прикладывал ладонь трубочкой к уху. А каждый раз, как наступала пауза в разговоре, он опорожнял рюмку с голландской водкой и глазами указывал молодому, чтобы тот наливал еще. Закусывал он сильной затяжкой из трубки.

Слякмельдеру казалось, что он очень выручает русскую революцию и что ее успехи в будущем в некоторой степени будут зависеть от него. Он сразу взял со своими русскими собеседниками покровительственный тон. Он даже не прочь был их коечему поучить: когда-то он читал на английском языке роман об итальянских карбонариях и немало вычитал там о разных конспиративных уловках.

Поучения и покровительство Слякмельдера очень сердили меня. Больше же всего я был недоволен собою: как же это я мог так неосмотрительно выбрать для выполнения серьезного конспиративного дела такого фантазера и говоруна? Я тут же постарался «поставить на место» молодого моряка.

Владимир Ильич вначале не мешал мне в этом. Но вдруг неожиданно повернул все иначе. Он рассказал кое-какие, только что полученные новости из

России. И из этого рассказа стало ясно, как трудно там делать то, что здесь, на родине Слякмельдера, делается рабочими организациями без усилий и просто.

Это было сказано в подтверждение того, какое большое и значительное поручение берет на себя Слякмельдер в России. И это прозвучало как признание того горделивого чувства за свою роль в русской революции, которое в эти минуты наполняло бельгийского юношу матроса.

Слякмельдер взглянул на меня как победитель. Но к торжеству его сейчас же примешалась озабоченность. Владимир Ильич перешел к тому, что и как надо сделать. Он излагал это строго, пожалуй, даже с подчеркнутой суровостью, — тут уж никаких снисхождений за хорошие намерения, а только деловая требовательность точного выполнения и дисциплины. Оказалось, что и карбонарии Слякмельдеру не в помощь, и приходилось слушать и соглашаться, что он русских условий не знает.

И, странное дело, Слякмельдер был в таком же восхищении от того, что его Ленин поучил, пожурил, как мальчика и новичка, как и от того, что одушевлявшие его высокие стремления и представления о своей роли были признаны законными. Его впечатления от этой встречи с русскими революционерами были разнородны и противоречивы, но они все сливались в одно чувство к Ленину, в чувство обожания. Расставаясь на улице, он стоял перед Лениным с непокрытой головой, а простившись, вернулся и сно-

ва и еще раз крепко пожал руку Владимиру Ильичу.

— Вы сцепились, как молодые петухи, — сказал мне Владимир Ильич смеясь, — а ведь это очень хорошо, если человек думает про свое маленькое дело, что от него зависит судьба революции. Но вообще-то вы хорошо подобрали людей — и старого и молодого. Очень хорошо. Только мы из осторожности дадим им для начала не очень серьезное поручение. Согласны?

• • •

До реферата оставалось часа два. Уже стемнело, опускались серые туманные сумерки. Решено было перед рефератом перекусить. Ленин предложил зайти снова в «Ватерлоо». Он предпочитал уже знакомые места, — возможно, потому, что знакомое отвлекало меньше от главных дум, чем новое.

От «Ватерлоо» до кафе «Золотой петух», где я снял зал для реферата, было недалеко. После ужина пошли пешком. Владимир Ильич дорогою молчал.

В «Золотом петухе» зал был полон. Собираться начали задолго до начала. Собрались съехавшиеся нелегально с разных концов Латвии делегаты 4-го съезда латышской социал-демократии. Кроме них были гости — представители разных течений из других частей российской партии. Делегаты жались ближе к выходу в зал, откуда должен был появиться Ленин.

Некоторые делегаты прибыли в Брюссель за несколько часов и даже за несколько минут до реферата. Ехали из-за конспирации разными маршрутами и в разные сроки.

Но смотр силам уже был сделан. Уже определилось, что на съезде большинство будет принадлежать большевикам. Однако большинство предположительно всего в один голос. Волнение в ожидании завтрашнего открытия съезда подошло к точке кипения. Встреча Ленина и ленинский реферат накануне открытия съезда ожидались как разведка боем перед решающими сражениями. Напряжение в зале было так велико, что люди предпочитали не спорить друг с другом и держались молча.

Как только Владимир Ильич показался на площадке второго этажа перед залом, все бросились к нему. В глубине опустевшего зала остались только гости из ярых противников большевиков.

У самой лестницы Ленина перехватил высокий пожилой рабочий из Риги и обнял его.

Владимир Ильич спросил, как здоровы дети, и назвал его детей по именам. И все кругом заулыбались. И друг другу передавали: «вот память», «вот человек, это действительно человек». И каждый считал нужным рассказать соседу — как будто сосед этого не видел, — как встретился Ленин с рижским делегатом, с которым семь лет не виделся, с самого лондонского съезда российской партии, а детей его не видал с девятьсот шестого года.

За рижанином к Ленину потянулись другие де-

легаты. У многих оказалось старое с ним знакомство. Передавали поклоны, вспоминали друзей, — и все это торопясь, на ходу, обрывками фраз, но горячо.

Ленин сделался весел, оживлен, много смеялся.

К трибуне надо было пройти через весь зал. Этот путь в сотню шагов Ленин проходил в течение получаса. Каждый приезжий хотел перекинуться приветствием и что-то вспомнить из старых встреч.

И когда Ленин дошел до трибуны, и все расселись по местам, и наступила тишина, показалось, что уже произошло в этом зале так много, и многое из того, что должно быть решено на предстоящем завтра съезде, уже решилось.

— Слово для реферата по национальному вопросу принадлежит товарищу Ленину.

Владимир Ильич встал. Тогда вспомнили об аплодисментах: аплодировали жарко.

Слышали ли вы его речи? Ленина надо было видеть, когда он говорил, и хотелось смотреть на него не отрываясь, пока продолжается его речь.

Привлечь и держать живым внимание слушателей стремится всякий, кто говорит к толпе. Но Ленин был больше чем оратор. Он безраздельно овладевал вашими мыслями, находил их, встречался с ними где-то у самого истока их зарождения. Он брал и обнажал перед нами самую первую отправную логическую посылку. Затем как бы взвешивал ее перед нами на ладони и пускал в ход точный логический процесс, не сухой, а живой, богатый, развет-

вленный. Он толкал вашу мысль, давал ей направление сразу по многим разбегающимся разнообразным тропам, но которые все вели к одной главной дороге, где вы следовали за ним.

И было еще одно в его речи — это бесстрашие перед фактами, какие бы они ни были. Он подводил вас к самой пропасти, с дерзновением и бесстрашием перешагивал через нее, полный твердой решимости найти реальное и истинное там, где другая, робкая мысль прячется за иллюзию.

Он развернул перед слушателями причины и обстановку усиливающихся национальных движений на Дальнем и Ближнем Востоке. Он перешел к анализу положения в многонациональной России. Могут ли русские передовые революционеры выкидывать из программы своей партии признание права на самоопределение национальностей, как предлагают некоторые противники большевиков, спрашивал Ленин и отвечал:

— Исторические конкретные особенности национального вопроса в России придают у нас особенную насущность признанию права наций на самоопределение в переживаемую эпоху.

— Правильно! — крикнул из первого ряда тот самый рижанин, который первым встретил Ленина на площадке лестницы. С самого начала реферата он сидел недвижим, не спуская с Ленина глаз, и следил за каждым его словом, за каждым его движением.

— Правильно, — повторил он, повернувшись к

сидящим позади него, как бы желая убедиться, что они все с ним думают так же. — Именно сейчас это особенно насущно важно.

— Верно! Правильно! — ответил зал.

Затем рижанин снова повернулся к Ленину и спросил:

— А в чем особенности национального вопроса в России? — Он спросил это так просто, как будто он один на один разговаривал с Лениным.

Ленин ответил, не нарушая хода своей мысли:

— Россия — государство с единым национальным центром, великорусским. Великорусы занимают гигантскую сплошную территорию, достигая по численности приблизительно семидесяти миллионов человек.

В глубине зала вдруг вскочил меньшевик:

— Вот потому-то и не нужно говорить о самоопределении наций, а только об автономии.

В зале раздался смех. Меньшевик стерся в дальний уголок. Владимир Ильич продолжал:

— Создание самостоятельного и независимого национального государства остается пока в России привилегией одной только великорусской нации. Мы, великорусские пролетарии, — воскликнул он, — не защищаем никаких привилегий, не защищаем и этой привилегии.

Зал захлопал.

— Мы воспитываем массы в духе отрицания государственных привилегий какой бы то ни было нации.

Зал захлопал еще сильней.

— Мы стоим за одинаковое право всех наций на свое национальное государство.

Аплодисменты слились в один сплошной гул, подобный радостному шуму водопада. Многие встали.

Владимир Ильич долго и терпеливо ждал. Он стоял, прикрыв ладонью лоб, и казалось, что он призывает слушателей сосредоточить свои мысли на еще более важном, что им предстоит сейчас услышать. Зал смолк.

— Однако, — продолжал Ленин, — суждено ли будет какой-либо данной нации составить самостоятельное государство, это зависит от тысячи факторов, неизвестных заранее.

Он разъяснил, что нельзя смешивать две различные вещи: одно дело быть против насильственного удержания малой нации в крупном государственном объединении, и другое дело — как целесообразней поступить в конкретном случае. Отделение может в определенных условиях означать для малой нации под видом независимости худшую кабалу от хищных соседей и даже уничтожение и гибель.

А затем он перешел к перспективам и тактике рабочего движения.

— При прочих равных условиях, — сказал он, — сознательный пролетариат всегда будет отстаивать более крупное государство. Почему? Потому, что централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раз-

дробленности к будущему социалистическому единству мира.

В повестке съезда не назначено было обсуждение того, о чем говорил Владимир Ильич. Но с первых же мыслей, которые он раскрыл перед слушателями, стало ясно, что это и есть основное для будущих решений съезда: единство латышей, единство всей Прибалтики с трудовым русским народом и всеми народами в борьбе за общее для всех счастливое будущее, за уничтожение всякого вида национального неравноправия.

В зале было много ветеранов революции пятого года. Для них живы были в памяти бои латышей в союзе с русскими рабочими против немецких баронов и царских жандармов.

Ленин до самых последних глубин исследовал перед своими слушателями истоки, где возникают причины и где рождаются ростки прочного, неделимого, не разрушимого никакими бурями союза и единства народов, населяющих Россию. В его словах звучала вера в свой собственный русский народ, в его великую освободительную миссию. В его словах было глубокое уважение к гению всех других народов. В его мысли чувствовался полет истории и ее ничем не остановимое движение. Он видел на столетия вперед.

Ленин указал, что на всех этапах борьбы за братство народов, во время ли грядущих войн или передышки, при всех трудностях и превратностях борьбы, всегда руководящей и направляющей силой,

вдохновителем и организатором широчайших народных масс должна быть и обязательно будет партия, непоколебимо верная своим великим целям. И он призывал укреплять действительное, а не мнимое единство партии, оберегая ее ряды от колеблющихся и от изменников революционным принципам.

Владимир Ильич кончил. Зал аплодировал. И передо мной пронеслись все впечатления протекшего дня от первой минуты встречи с Владимиром Ильичем до его реферата. И тревожные призраки приближающейся европейской войны, и острота выдвинувшейся на первый план национальной проблемы, и обострившаяся борьба предателей всех мастей против единства партии, и нерешительность, колебания, трусливость Интернационала, — все это соединилось в мыслях в одно неразрывное целое, и все сливалось в призыве Ленина укреплять боевую мощь партии.

И в этих впечатлениях протекшего дня образ Ленина вставал одухотворенный одною нераздельной страстью и одной всепоглощающей мыслью.

После Владимира Ильича долго говорил бундовец, роясь в мелочах и прикрывая рассуждениями о технических деталях свой раздутый национализм. Ленин слушал терпеливо.

Затем поднялся где-то в заднем ряду, не пожелав пройти к трибуне, резонер меньшевик С., обложивший свое выступление пухлой ватой ученых цитат. Паясничая, он сказал:

— Над тем, что Ленин написал о национальном

вопросе, можно только смеяться. Самоопределение наций, как он его толкует, могло бы привести только к распаду такого многонационального целого, как Россия, на карликовые государства. Писать о прогрессивности крупного государства и работать над его раздроблением — это смешно и близоруко.

Сидя рядом с Владимиром Ильичем, я видел, каким усилием воли сдерживает себя Владимир Ильич, как вздрагивает его коленка.

Председатель призвал паясничающего говоруна к порядку. Больше оппонентов не оказалось.

— Теперь вам, Владимир Ильич, заключительное слово.

Ленин встал. Мне видно было, как он раздражен.

— Я отвечу подробно бундовскому оппоненту, — начал Владимир Ильич тихо, спокойным голосом. Затем сделал паузу, как будто ему было тяжело дышать. И вдруг на весь зал раздраженно бросил: — А на мальчишеский вздор отвечать не считаю нужным. — Затем перешел снова к спокойному разбору сделанных ему возражений.

• • •

Делегаты съезда долго не хотели расставаться с Владимиром Ильичем.

Снова понадобилось долгое время, чтобы пройти небольшое расстояние между трибуной и выходом из зала к лестнице.

Внизу, в раздевальной, Ленину опять жали руки,

желали доброй ночи, интересовались, будет ли он выступать утром на съезде.

На улице у подъезда снова длительное расставание.

Наконец все простились, все разошлись.

Владимир Ильич и я зашагали к месту ночлега. Улица была пустынна, беззвучна. На небе за дымкой висела потускневшая, усталая луна. Шли молча. И долго шли молча. Я не решался говорить, но чувствовал по шагам, что Владимир Ильич раздражен.

И вдруг Ленин останавливается и поворачивается ко мне:

— А что ты написал?

Я от неожиданности и от резкости, с какой был задан вопрос, тоже сразу остановился. Ленин еще раздраженней и еще громче повторяет:

— Что ты написал? Что? Ну скажи — что? Ни черта ты не написал.

Я похолодел: в чем дело? Что произошло? Да и Владимир Ильич никогда не говорил мне «ты».

А Ленин продолжал:

— Говоришь, Ленин написал такое, над чем можно только смеяться. А что ты написал?

Кровь, отхлынувшая было, снова прилила к щекам моим: ах вот о ком идет речь!

— Говоришь, рассыплется на карликовые государства? Да уж обязательно будут сволочи работать на то, чтобы рассыпалось. Но оно будет стоять нерушимо.

И снова пошли молча. Я повел Владимира Ильича по улице, где жил рабочий бедный люд.

В глубине улицы нам пришлось перед одним домом замедлить шаги — так была плотна толпа на тротуарах. В толпе было двое-трое полицейских. Они приглашали толпу не стоять, а проходить, и действительно, люди не стояли, а все время двигались; но дойдут до одного угла дома и медленно идут назад, к другому концу, и так прохаживаются перед домом: стоять запрещается, а ходить по тротуару дозволено. Со второго же этажа непрерывно лился голос оратора, стоявшего у открытого окна.

— Что это за штука? — спросил Владимир Ильич.

— А это анархистский митинг. У них нет денег на то, чтобы снять зал. На улице же митинги не разрешаются. Хотите, взглянем немного?

— Пойдемте. Это — курьез, а не характерность.

И снова пошли молча. Я спросил себя: сколько же прошло времени с выходки меньшевика? Ведь было заключительное спокойное слово Владимира Ильича; потом он шел по залу, потом задержались в вестибюле, потом прощание у подъезда. Какой же силы чудесный гнев.

• • •

В следующие дни был съезд. С самого раннего утра и до поздней ночи время Владимира Ильича было поглощено пленарными заседаниями и работами комиссий.

Как только закончился съезд, Владимир Ильич собрался немедленно уезжать. Намеченные дела в Брюсселе были сделаны. Он уезжал не в Париж, а в Краков, куда переселился из Парижа, когда оживилось рабочее движение в России.

После заключительного заседания съезда, поужинав, отправились на квартиру ко мне, чтобы взять маленький кожаный чемоданчик, затем ехать на вокзал.

Как в вечер реферата, улица была недвижима, тиха. И Владимир Ильич шел так же, как тогда, долго не говоря ни слова. Казалось, продолжается тот же вечер. Но только Владимир Ильич был не возбужденный, а усталый.

— А что все-таки с вами, Павел? И скажите, отчего я в этот приезд ни разу не встречал дочь мадам Артц? Где Жанна? Уехала куда-нибудь?

— Разве я сторож Жанны, Владимир Ильич? Да и не будем об этом говорить. Это не стоит вашего внимания, Владимир Ильич.

У подъезда нам звонить не пришлось: дверь была открыта, Жанна и ее мать провожали уходившего гостя. Когда поднялись наверх в мою комнату, я сказал:

— Ну вот вы и встретили Жанну. Это с нею был ее жених; она выходит замуж.

Я стал искать спички, чтобы зажечь газовую лампу, и вдруг у меня вырвалось:

— Как бы я хотел убежать отсюда, чтобы ничего не видеть, ни о чем не слышать.

Владимир Ильич никак на это не отозвался.

Раскрыв чемодан, он сказал:

— Не опоздать бы к поезду. Вы идите-ка, Павел, расплатитесь за меня с хозяйкой, а я приготовлю чемоданчик, а чтоб не терять времени, вы не поднимайтесь обратно сюда, я погашу газ, закрою комнату, и мы сойдемся внизу.

• • •

Обыкновенно перед отъездом Владимир Ильич оставлял мне точные поручения. На этот раз никаких поручений не было. Я затревожился: отчего бы это, что нет поручений? Может быть, Владимир Ильич чем-то недоволен?

На вокзале перед самым отходом поезда я решился спросить о поручениях. Владимир Ильич сделал вид, что не слышит.

Поезд отошел. Я остался на платформе и долго смотрел вслед последнему вагону. В предвесеннем небе стояла как бы в нерешимости луна.

• • •

Войдя к себе в комнату и зажегши свет, я увидел посреди стола записку. На записке лежали деньги.

Что это такое? Почерк Владимира Ильича. Я взял записку, удивленный, зачем она, откуда она, ведь только сейчас расстались.

«Вам надо уехать отсюда», — писал Владимир Ильич. Слово «надо» было подчеркнуто два раза резко, энергично, как обычно делывал Владимир Ильич. «Поезжайте немедленно к семье Инессы Арманд, они уехали на западное побережье в Сен-Жан-де-Мон. Рассейтесь там, отдохните. Я телеграфирую о вашем приезде. Зная, что у вас, как всегда, нет денег, оставляю вам двести франков». А за подписью еще приписка, сделанная почерком помельче, так как на бумаге оставалось мало места: «И советую вам утопить ваши неприятности в океане».

● ● ●

События пошли, как их предвидел Ленин.

Вандервельде не мог не принять вызова, который был ему сделан Лениным, и в начале лета 1914 года он отправился в Петербург. То, что он увидел там, открыло ему, как сильны большевики в русском рабочем движении. Эти факты заставили Вандервельде быть осторожней.

К лету 1914 года, когда Россия вошла в полосу революционных массовых выступлений и в России насчитывалось уже около миллиона политических стачечников, в первенствующем значении Ленина в русском движении для Интернационала едва ли остались сомнения.

Интернационал предпринял созыв конференции всех течений русского социализма для их объединения. По существу же это была попытка «навалиться

миром» на ленинцев. Это был съезд всех противников ленинизма; здесь были: Вандервельде, Каутский, Плеханов, Мартов, Алексинский и т. д. На этой конференции Вандервельде уже не говорил о большевистской непримиримости как показателе отсталости русского рабочего движения.

Ленин тогда уже дал точную оценку всем этим «течениям», с которыми хотели «мирить» ленинцев, и не счел нужным явиться на конференцию, двинув в стан противников лишь маленький отрядик: Инессу Арманд, М. Ф. Владимирского и меня. И этот маленький ленинский отряд расстроил и сорвал планы «объединителей».

Конференции и съезды, как и книги, имеют свою судьбу. Брюссельская конференция была яркой и сильной по столкновению мнений, была пробой тактического багажа «всех течений русского социализма» и экзаменом их политической воли. Но ей было предназначено остаться без судьбы, и как будто, на поверхностный взгляд, это был простой эпизод, не бросающий никакой тени на будущее. Для истории идей это не так, но практически было так.

В полдень тени наиболее коротки. А июль 1914 года был раскаленным политическим полднем — на пороге стояла война. В поворотные моменты истории, в частности также во время революции, очень большие события кажутся однодневками, и только спустя много лет становится понятным их

длительное значение. По деловым последствиям брюссельская конференция отнюдь, конечно, не большое событие, но теперь, когда прошло много лет, мне совершенно ясно, что конференция была узлом, где сошлись многие нити из прошлого, а также центром, из которого можно многое вывести и объяснить, что затем последовало.

Через несколько дней после этой конференции, перед лицом угрожавшей европейской войны, вожаки Интернационала открыто признали значение Ленина.

Когда 27 июля собралось Международное социалистическое бюро в Брюсселе — смешно сейчас сказать — поговорить «о предотвращении войны», Владимир Ильич не приехал в Брюссель. В эти кризисные дни он оставался ближе к границам России. И вот тогда Гюисманс и другие повторяли мне: «Как жаль, что в такую минуту нет Ленина, он один мог бы сказать нам, каковы в России настоящие перспективы движения против войны».

Да, тогда уже «сектантская непримиримость» Ленина начала давать плоды. Тогда уже оправившийся от ударов столыпинской реакции русский рабочий класс начал объединяться вокруг ленинских лозунгов.

Второй же Интернационал стоял перед кануном своей моральной смерти, перед голосованием за империалистическую войну.

После заседания МСБ собрался многочисленный митинг в Королевском цирке.

Первым выступил Гаазе. «Германская социал-демократия, когда наступит непосредственная угроза войны, не остановится перед применением самых крайних средств», — провозгласил немецкий депутат. Зал зааплодировал.

Гаазе, подняв руку, водворил спокойствие, выдержал паузу и при наступившей вдруг напряженной тишине пояснил: «Да, самых крайних средств, вплоть до всеобщей стачки». Ему рукоплескали, как спасителю от войны.

Кто же знал, что через несколько дней тот же Гаазе прочтет в немецком рейхстаге декларацию о том, что германская социал-демократия будет голосовать за кредиты на войну? Гаазе оправдал характеристику, данную Лениным.

— Как сложатся дела в России, что думает об этом Ленин? — спросил меня Жорес перед своим выходом на трибуну. Жорес был в глубоком раздумье. В глубоком раздумье он уехал из Брюсселя в эту ночь, а на другой день вечером был убит провокаторской пулей.

— Где же Ленин? Почему не приехал? — осаждали меня вопросами члены Международного социалистического бюро.

— Вы, конечно, осведомлены, где сейчас Ленин? Вы не попытались бы телеграфировать ему, что его приезд крайне желателен? — сказал мне Вандервельде. — Нам нужно знать, что будет теперь в России. Кто скажет нам об этом?

— У вас сейчас на бюро немало гостей из представителей различных течений русского социализма, — ответил я.

— Вы издеваетесь. Это же нули. Кто за ними идет в России? Я это знаю. Недаром же я ездил в Россию. Только один Ленин мог бы сейчас сказать нам, какую действительно позицию займет русский рабочий класс. Просите его приехать.

— Не могу просить его об этом. Ленин не прервет сейчас ни на один час, ни на один день своей связи с русским движением.

Через несколько дней вспыхнула европейская война, немцы перешли бельгийскую границу.

18 августа 1914 года я проснулся ночью от звуков флейт и лязга цепей, резких вскриков команды. В Брюссель вступила армия Сикста фон Армина.

Утром я зашел к Вандервельде в редакцию «Le Peuple». Какая-то женщина с громкими рыданиями рассказывала, что в Визе она видела, как гранаты разрывают на куски людей. Вандервельде, сам еле сдерживая слезы, какой-то весь подобранный и ушедший в себя, почти гневно крикнул ей:

— Оставьте наконец причитания, это — война, а война — смерть и бессмысленная жестокость!

Заметив меня, он сказал:

— Боже мой, мы не виделись с вами с конференции. Дорогой друг, как далеки мы теперь от споров о судьбах русской революции.

Мне показалось тогда правильным это замечание. Война как будто обрывала нить, образовалась пропасть, за которой все начнется сначала. Но теперь нет сомнения, что в минуты этого разговора мы стояли еще ближе к «спорам о судьбах русской революции», чем за несколько дней до этого, на конференции.

Война оказалась прологом к русской революции, а конференция показала, с каким идейным содержанием войдут «течения русского социализма» в русскую революцию. Столкновения течений на конференции по причине войны оставили какой-то подземный след, прерванный войной. Сгусток идейных споров обратился как бы в латентную (скрытую) энергию. Но не прервись линия и развейся июньские и июльские события 1914 года в России в новый подъем революции, как мы тогда ожидали, — брюссельской конференции суждено было бы сыграть значительную роль в истории русского социализма...

• • •

Какая-то, не помню, из иностранных газет писала по случаю смерти Ленина, что ни одна жизнь не была так плодотворна, как его, и ни одна не угасала при такой полной победе своего дела.

Истории угодно было показать ленинцев в действии на самых разнообразных этапах революции: начиная с момента искания ею своей дороги и

кончая победой и борьбой с превосходящим врагом.

Судьба учения и судьба учителя совпали. Он сам прошел все эти этапы, и в том, может быть, таится необычайная притягательность его жизни, что в ней заключены все ступени — от борьбы почти в одиночестве до величайших побед и до всеобщего признания. В этой жизни и в этом конце заключен какой-то новый, возвышающий драматизм. Перед глазами у меня стоят такие образы.

Я видел в августе 1914 года, как в течение 7 суток ночью и днем непрерывной лентой текла через Брюссель армия Вильгельма Второго, слышался лязг железа, свист флейт и крики самоуверенных командиров. Замирало сердце: казалось, этот грозный поток раздавит все на своем пути.

Где же они теперь — Вильгельм, его раболепная армия и ее жестокие командиры?

Вспоминаю я 1910, 1911 годы: столыпинская реакция, ликвидаторы, развал, разочарование, эмигрантская склока, а около Ленина горстка людей.

А через несколько лет, когда Ленин умер, день и ночь в течение недели несметные колонны людей лились и лились к его гробу. И партия его стоит у руля величайшего государства.

В своих политических планах Ленин всегда считал «миллионами». И как Баратынский писал про поэтическую интуицию Гёте: «Он чувствовал трав прозябанье», так про политическую интуицию Ленина можно сказать, что он чувствовал невидимый

рост и невидимое накопление энергии масс и как бы вбирал ее в себя.

Когда Ленин считал миллионами и поднимал массы, он обнаруживал такую широту и такое уменье выйти за рамки формальных программ, какие никогда не были бы под силу тем, кто упрекал его в сектантстве и доктринерстве.

Но зато по отношению к доктринерам оппортунизма он проявлял непримиримость и не боялся оставаться среди них в одиночестве. Вожакам II Интернационала это одиночество казалось слабостью.

Волевая, мятежная фигура Ленина стояла особняком во II Интернационале. II Интернационал родился после поражения Коммуны. Пора его пышного расцвета была до начала великих классовых схваток. Это был какой-то «миротворческий» Интернационал. Великий полководец пролетарских битв пришелся в нем не ко двору. Помню, что для II Интернационала с Лениным связаны были хлопоты и неприятности.

Ленин становится заметным во II Интернационале со Штутгарта (1907 год). В 1908 году и позднее безраздельным авторитетом в Интернационале пользовалась четверка: Бебель, Виктор Адлер, Ж. Жорес и Э. Вандервельде. Кажется, не было ни одного случая важных решений Исполнительного комитета без того, чтобы секретарь Интернационала К. Гюисманс по поручению председателя Вандервельде не опросил бы предварительно всю четверку. Но и тогда уже Ленин становится центром, к кото-

рому идут за поддержкой самые передовые революционные круги социал-демократии. Помню, как осенью 1909 года ко мне явился т. Гортер, тогдашний лидер голландских революционных марксистов, чтобы просить у Ленина поддержки в МСБ для небольшой марксистской группы, которая на съезде голландской партии объявлена была раскольничьей. С точки зрения фанатиков единства, какими были Бебель и Адлер, этот раскол представлялся скандальной выходкой, тем больше, что часть марксистов, как, например, Роланд Гольст, остались в партии вместе с реформистами. «Раскольникам» грозила перспектива быть исключенными из Интернационала. Предстояло заседание МСБ, приехал Владимир Ильич, и он добился, чтобы «раскольников» не только не выкинули из Интернационала, но чуть ли не дали место в бюро.

Руководители II Интернационала судили тогда о Ленине по меньшевистским «жалобам», но растущее его значение и влияние стало для них очевидным, когда петербургская «Правда» сделалась бесспорным органом, руководящим массовой революционной борьбой.

Кто-то сказал мне: девятнадцатое столетие кончилось в ночь с 31 июля на 1 августа 1914 года.

Наверное, оно кончилось раньше: с появлением Ленина на политической ниве. Для тех, кто знал лично Ленина, это истинное начало воспринималось по-разному, в зависимости от личных обстоятельств или момента. Для меня по внутреннему моему ощу-

щению XX век начался с момента, когда я прочел «Что делать?», а я прочел его только в конце 1904 года.

Ленин соединяет в себе все, что надо было для XX века. Его мятежная фигура среди людей, родившихся в последней четверти XIX века, — истинный образ революционера.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОПОВ
Иван Федорович

ОДИН ДЕНЬ С ЛЕНИНЫМ

М., «Советский писатель», 1963, 96 стр.

Редактор *Ю. Б. Рюриков*
Художник *Е. М. Галинский*
Худож. редактор *В. И. Морозов*
Техн. редактор *Р. Я. Соколова*
Корректор *Г. Г. Папандопуло*

Сдано в набор 5/VI 1963 г.
Подписано к печати 5/XI 1963 г. А 10511.
Бумага $70 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. 3 (4,11).
Уч.-изд. л. 3,23. Тираж 185 000.
Заказ № 112. Цена 10 коп.

Издательство «Советский писатель».
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Типография издательства «Мысль»
Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

10 коп.

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ



